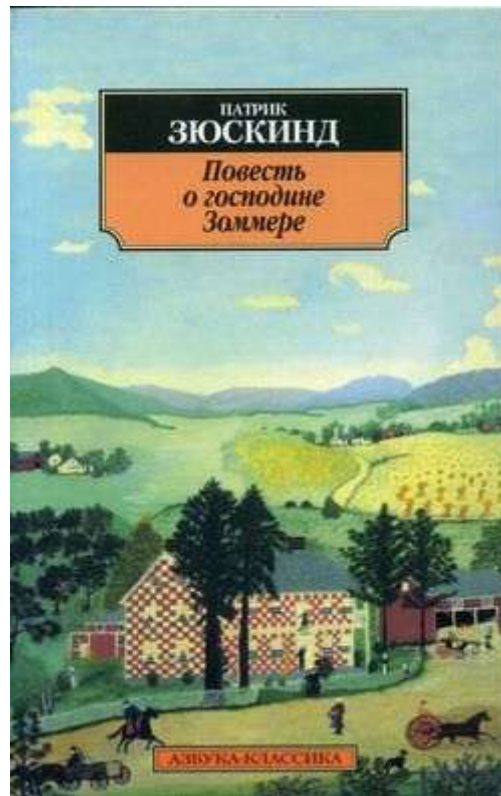


Патрик Зюскинд Повесть о господине Зоммере



Сканирование - A_Ch
«Зюскинд П. Повесть о господине Зоммере»:
Азбука-классика; Спб.; 2007; ISBN 5-91181-242-8
Перевод: Элла Владимировна Венгерова

Аннотация

В «Повести о господине Зоммере» Патрик Зюскинд, известный во всем мире автор романа «Парфюмер» и пьесы «Контрабас», обращается к внутреннему миру подростка, рассказывая о нем с неподдельной нежностью и легкой иронией.

Книга иллюстрирована Жан-Жаком Семпе.

Эта книга открывает нам новые грани таланта Патрика Зюскинда, автора знаменитого «Парфюмера». «Повесть о господине Зоммере» – очень странная и грустная история. Странен и сам господин Зоммер, который в повести произносит всего лишь одну фразу: «Да оставьте же вы меня наконец в покое!» Трагична его судьба... Однако именно в этом произведении Патрика Зюскинда отчетливо звучат лирические интонации. Писатель ведет свой рассказ от лица подростка, чей внутренний мир передает с нескрываемой нежностью и легкой иронией. Прекрасно дополняют авторский текст рисунки художника Жан-Жака Семпе. Они полны юмора, наивны и трогательны. Зюскинд считает, что его нужно издавать только с этими рисунками.

«Поэтическая филигранная сказка, родом из детства, пронизанная горькой и сладкой ностальгией».

«SomtagsZeitung»,

Цюрих

«Типичная для Зюскинда смесь поэзии, нежности и мягкого юмора».

«Suddeutsche Ze»,

Мюнхен

«Патрик Зюскинд ведет свое повествование с органичной для него легкостью, но не утаивая ничего о страданиях ранних лет. Он безошибочно находит правильную интонацию воспоминаний между юмором и болью».

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»,

Цюрих

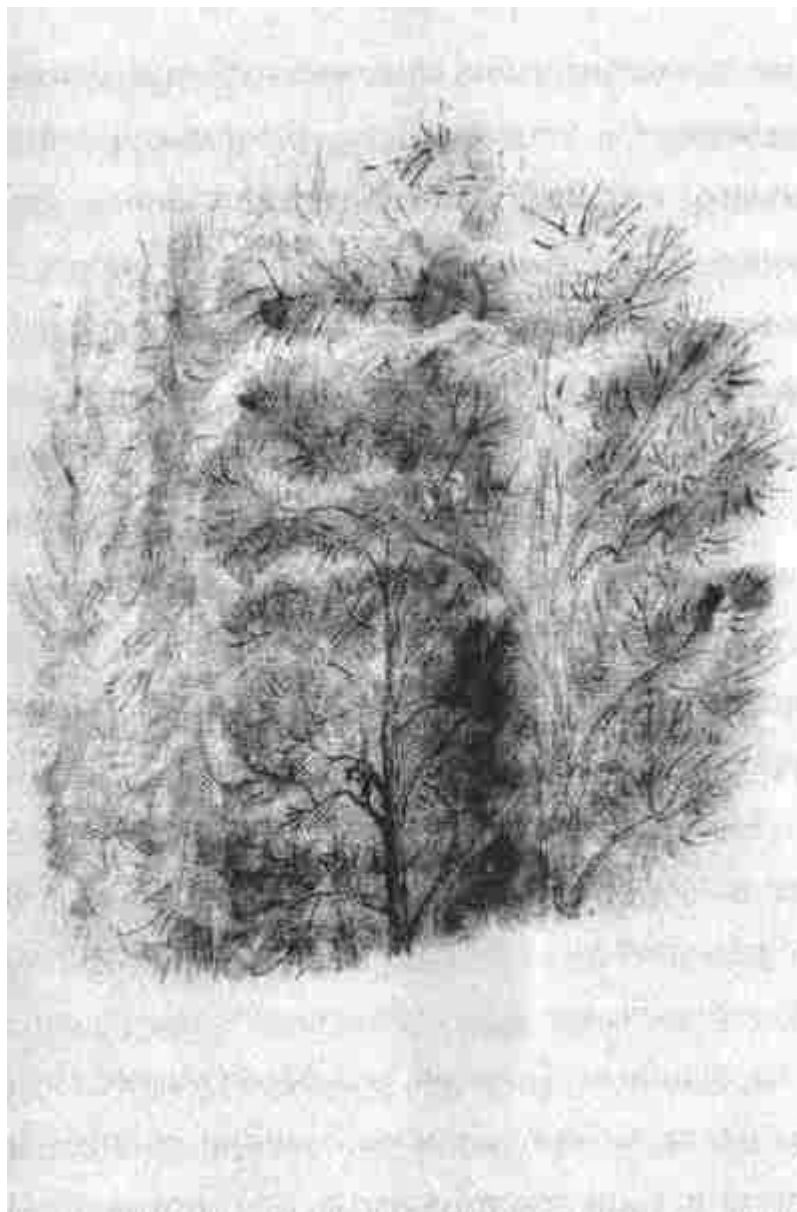
Патри Зюскинд
Повесть о господине Зоммере



В ту пору, когда я еще залезал на деревья, а было это давным-давно, много лет и десятилетий назад... я тогда был ростом чуть выше метра, носил ботинки двадцать восьмого размера и весил так мало, что мог летать... ей-богу, не вру, в самом деле мог... ну, по крайней мере, почти мог, или скажем так: в свое время я действительно смог бы взлететь, если бы твердо решился и хорошенько постарался, потому что... потому что отлично помню, как однажды чуть было не взлетел, а случилось это осенью, в первом классе, когда я возвращался из школы и дул такой сильный ветер, что, даже не разводя руки в стороны, на него можно было опереться и не упасть, как будто ты лыжник и прыгаешь с трамплина, надо только немного пригнуться, еще немного, еще... ведь я тогда бежал через луга навстречу ветру, вниз со Школьной горы, так как школа стояла на горке за деревней, а я просто немного оттолкнулся от земли и раскинул руки, и ветер подхватил меня и понес, и можно было очень даже легко прыгнуть на два, три метра в высоту, а в длину на десять, двенадцать метров... ну, может, немного ниже и немного ближе, разве в этом дело!., во всяком случае, я почти летел, и если бы только расстегнул пальто, взялся за обе полы и раскинул руки, как крылья, ветер бы сразу же поднял меня и я очень бы даже легко спланировал со Школьной горы, через ложбину, к лесу, а через лес напрямиком к озеру, где стоял наш дом, а там бы я, к безграничному изумлению всех – отца, мамы, сестры и брата, слишком старых и тяжелых, чтобы летать, – там бы я изящно развернулся высоко над садом, на бреющем полете пересек бы озеро почти до самого другого берега и наконец позволил бы ветру спокойно отнести меня назад и доставить домой точно к обеду.



Но я не расстегнул пальто и не взлетел по-настоящему высоко. Не потому, что побоялся взлететь, а потому, что не знал, где и как и смогу ли когда-нибудь вообще приземлиться. Терраса перед нашим домом была слишком твердой, сад слишком маленьким, вода в озере слишком холодной для приземления. Подняться вверх – это не вопрос. Но как снова опуститься?



Когда залезаешь на дерево, происходит то же самое: взобраться наверх ничуть не трудно. Ветки у тебя перед глазами, ты хватаешься за них, проверяешь на прочность, потом подтягиваешься и ставишь ногу. А когда слезаешь, ничего не видно и приходится более или менее вслепую нащупывать ногой опору, а ведь опора часто бывает гнилая или скользкая, и если промахнешься и не успеешь уцепиться за ветки обеими руками, то сорвешься и свалишься на землю, как камень, следуя так называемым законам падения, которые были открыты вот уже почти четыреста лет назад итальянским ученым Галилео Галилеем и все еще действуют до сих пор.

Мое самое страшное падение произошло все в том же первом классе, я летел с белой пихты высотой в четыре с половиной метра. Полет проходил в точном соответствии с первым законом Галилея, каковой гласит, что пройденное в падении расстояние равняется одной второй земного ускорения, помноженного на квадрат времени ($s = 1/2g \cdot t^2$), и, следовательно, длился 0,9578262 секунды. Это весьма малый отрезок времени. Меньше, чем время, необходимое для того, чтобы посчитать от двадцати одного до двадцати двух, и даже меньше, чем время, необходимое для того, чтобы отчетливо произнести «двадцать один»! Все произошло настолько стремительно, что я не сумел ни раскинуть руки, ни расстегнуть пальто и использовать его в качестве парашюта, мне даже не успела прийти в голову спасительная мысль, что падать совсем не обязательно, раз я умею летать... я вообще ни о чем не размышлял в эти 0,9578262 секунды и, не успев опомниться, в соответствии уже со вторым законом Галилея ($v=gt$) развил при столкновении с лесной почвой конечную скорость, равную 33 километрам в час, и брякнулся оземь, да так здорово, что сломал затылком толстенную ветку. Сила подобного воздействия называется силой тяжести. Она не только изнутри удерживает в целостности мир, она еще обладает изощренной способностью притягивать все вещи без разбора, большие и малые, и только покоясь в материнской утробе или

кувыркаясь, как ныряльщики, под водой, мы вроде бы освобождаемся от ее помочей. Помимо этого элементарного вывода результатом моего падения была огромная шишка. Уже через несколько недель шишка исчезла, однако по прошествии лет в том месте, где она некогда находилась, я стал ощущать странное подергивание и постукивание, предвещавшее перемену погоды, особенно перед снегопадом. Еще и сегодня, почти сорок лет спустя, мой затылок служит мне надежным барометром, и я точнее всякого бюро прогнозов могу предсказать, пойдет ли завтра дождь или снег, просияет ли солнце или соберется гроза. Я также полагаю, что некоторая разбросанность и рассеянность, которой я страдаю в последнее время, является отдаленным следствием того самого падения с белой пихты. Мне, например, все труднее держаться темы и кратко формулировать те или иные мысли, а рассказывая истории вроде этой, приходится чертовски внимательно следить за собой, чтобы не потерять нить, иначе я начну перескакивать с пятого на десятое и в конце концов вообще забуду, с чего начал.

Итак, в то время, когда я еще залезал на деревья, – а я лазал много и хорошо и не всегда только падал! – я умел залезать даже на такие деревья, у которых снизу не было веток, и потому на них приходилось карабкаться по голому стволу. А еще я мог перелезть с одного дерева на другое и строить себе высокие насесты и даже однажды соорудил настоящий древесный дом с окнами и ковром на полу, прямо в лесу, на десятиметровой верхотуре... ах, я, кажется, провел на деревьях большую часть моего детства, я ел, и читал, и писал, и спал на деревьях, учил там английские вокабулы и латинские неправильные глаголы и физические законы, например упомянутые выше законы падения, открытые Галилео Галилеем, я делал на деревьях все уроки, устные и письменные, и очень любил писать с дерева вниз, получалась высокая дуга, шуршащая по листве и хвое.

На деревьях было спокойно, никто меня здесь не тревожил. Сюда наверх не доносился занудный зов мамы или командирский приказ старшего брата, здесь был только ветер, и шелест листьев, и тонкое поскрипывание стволов... и кругозор, чудесный, широкий кругозор: можно было смотреть сверху вниз не только на наш дом и на наш сад, но и на другие дома и сады и видеть всю землю за озером до самых гор, а на закате мне с моей вышины было видно садившееся за горами солнце, когда для людей внизу оно уже давно закатилось. Это было почти как летать. Пусть не так захватывающе и, может быть, не так шикарно, но все же вполне сравнимо, тем более что я постепенно становился старше, подрос на восемнадцать сантиметров и весил двадцать три килограмма, так что теперь был тяжеловат для полетов, даже если бы вдруг поднялась настоящая буря и я расстегнул бы пальто совсем нараспашку. А по деревьям, считал я тогда, можно лазать всю жизнь. Вот исполнится мне сто двадцать лет и стану я дрожащим стариком, а все равно заберусь, как старая обезьяна, на верхушку вон того вяза, вон того бука, вон той сосны и буду там тихо качаться на ветру и глазеть сверху на землю и на другой берег озера, до самых гор...



Ну вот, опять я отвлекся и разболтался о полетах и деревьях! При чем здесь законы падения и Галилео Галилей, и барометр на затылке, и моя рассеянность! Я же собрался рассказать совсем о другом, а именно поведать историю господина Зоммера... если это вообще возможно, ведь, по правде говоря, никакой истории, в общем-то, не было, а был только этот странный человек, чей жизненный путь... нет, надо бы сказать, чей жизненный маршрут... несколько раз пересекался с моим. Но лучше я снова начну с самого начала.

В то время когда я еще залезал на деревья, жил в нашей деревне... точнее говоря, не в нашей деревне Нижнее Озеро, а в соседней деревне Верхнее Озеро, хотя различить их не так-то просто, потому что и Верхнее Озеро, и Нижнее Озеро, и все прочие деревни не были строго отделены друг от друга, а пристраивались одна к другой вдоль озерного берега без видимого начала и конца, образуя узкую цепочку садов, и домов, и рыбачьих хижин... так вот, жил у нас в округе, километрах в двух от нашего дома, человек, которого звали «господин Зоммер». Никто не знал его имени, может, он был Петер, или Пауль, или Генрих, или Франц-Ксавьер, а может, доктор Зоммер, или профессор Зоммер, или профессор доктор Зоммер – его всегда называли только по фамилии: «господин Зоммер». Никто также не знал, кто он по профессии, чем занимается и, вообще, была ли у него когда-нибудь профессия. Знали только, что у госпожи Зоммер профессия была, а именно профессия кукольницы. Целыми днями она сидела в подвале Зоммеров, который они снимали у маляра мастера Штангльмайера, и там из шерсти, лоскутьев и опилок изготовляла маленьких детских кукол. Раз в неделю она складывала их в большой пакет и относила на почту. На обратном пути она заходила к лавочнику, булочнику, мяснику и зеленщику, приносила домой четыре битком набитые сумки и до конца недели уже не выходила из дому и мастерилла новых кукол. Откуда взялись Зоммеры, никто не знал, просто прибыли одна-

жды – она на автобусе, он пешком – и с тех пор так и жили здесь. У них не было детей, не было родных, и никто не ходил к ним в гости.

Так вот, хотя о Зоммерах, и особенно о господине Зоммере, почти ничего не было известно, можно с полной уверенностью утверждать, что в то время господин Зоммер был самым заметным человеком во всей округе. В радиусе не меньше шестидесяти километров от озера все мужчины, женщины и дети, да что там, все собаки знали господина Зоммера, потому что он всегда был в пути. С раннего утра до позднего вечера господин Зоммер пересекал местность. Не было дня в году, когда бы господин Зоммер сидел дома. Он всегда был на ногах. Шел ли снег, сыпал ли град, светило ли солнце, собиралась ли гроза, в бурю и ураган, под проливным дождем господин Зоммер совершал пешие прогулки. Он часто покидал дом до рассвета, как рассказывали рыбаки, выйдившие в четыре утра на озеро проверять сети, и возвращался домой лишь поздно ночью, когда на небе уже высоко стояла луна. За это время он преодолевал невероятно большие расстояния. Обойти озеро в один день, то есть проделать путь примерно в сорок километров, для господина Зоммера было обычным делом. Два или три раза на дню сходить в город и обратно, десять километров туда, десять километров сюда, – для господина Зоммера это не проблема! Когда мы, дети, в половине восьмого утра, сонные, как осенние мухи, плелись в школу, навстречу нам попадался бодрый и свежий господин Зоммер, прошедший в пути уже несколько часов; когда мы, усталые и голодные, тащились после школы домой, нас энергичным шагом обгонял господин Зоммер; а когда я вечером того же дня выглядывал перед сном в окно, могло случиться, что внизу, на Озерной улице, я замечал промелькнувшую, как тень, долговязую фигуру господина Зоммера.





Его было легко узнать. Его нельзя было спутать ни с кем, даже на большом расстоянии. Зимой он носил странное длинное черное, слишком просторное и стоявшее колом пальто, которое болталось на нем, как на вешалке, к сему полагались резиновые сапоги, а на лысину водружался красный вязаный колпак с помпоном. Летом же – а лето для господина Зоммера длилось с начала марта до конца октября, то есть большую часть года, – летом господин Зоммер надевал плоскую соломенную шляпу с черной матерчатой лентой, полотняную рубашку цвета жженого сахара и короткие штаны цвета того же сахара, из которых смешно выглядывали его длинные, тощие, состоявшие чуть ли не из одних связок и венозных узлов сухие ноги, каковые затем утопали в паре неуклюжих горных ботинок. В марте эти ноги поражали белизной, и венозные узлы выделялись на них, как нарисованная синими чернилами разветвленная речная система; но уже через несколько недель они приобретали медовый оттенок, в июле сверкали, как карамель, не отличаясь цветом от рубашки и штанов, а к осени так задубевали под воздействием солнца, ветра и непогоды, что на темной коже уже нельзя было различить ни набрякших вен, ни сухожилий, ни мускулов, – теперь ноги господина Зоммера напоминали узловатые ветви старой бескорой сосны, пока наконец не исчезали под длинными штанами и длинным черным пальто и, скрытые от нескромных взоров, бледнели до следующей весны, снова приобретая изначальный цвет белого сыра.



Две вещи летом и зимой составляли неперемнную принадлежность господина Зоммера, и никто никогда не видел его без них: одной была его палка, а другой – его рюкзак. Палка не была обычной прогулочной тростью, но представляла собой длинный, слегка корявый ореховый посох, доходивший господину Зоммеру до плеча и служивший ему как бы третьей ногой, без которой он никогда не развил бы огромных скоростей и не одолел бы невероятных расстояний, столь разительно превосходивших достижения нормального пешехода. Через каждые три шага господин Зоммер выбрасывал вперед правую руку с палкой, вонзал палку в землю и резким рывком перемещался вслед за ней, причем казалось, что ноги служат ему для инерционного скольжения, а собственно рывок происходит за счет энергии правой руки, каковая энергия посредством палки направляется на землю, – так отталкиваются шестами лодочники, двигаясь по воде на своих плоскодонках. Рюкзак же был всегда пустым или почти пустым, ибо в нем, насколько было известно, находилось не что иное, как бутерброд господина Зоммера и скомканная резиновая пелерина длиной до колен, которую господин Зоммер надевал в тех случаях, когда попадал под дождь.

Но куда же вели его странствия? Какова была цель этих бесконечных марш-бросков? Почему и для чего господин Зоммер по двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов в день торопливо шагал по дорогам? Этого не знал никто.



Сразу после войны, когда Зоммеры осели в деревне, такие походы никого особенно не удивляли, ведь тогда все люди шастали по округе с рюкзаками. Бензина не было, автомобилей не было, автобус ходил раз в день, есть было нечего, топить нечем, и чтобы раздобыть где-то пару яиц, немного муки, или картофеля, или килограмм угольных брикетов, или, например, почтовую бумагу, или несколько бритвенных лезвий, приходилось пускаться в многочасовые пешие походы и тащить драгоценную добычу домой на ручной тележке или в рюкзаке. Но уже через несколько лет можно было снова все покупать в деревне, уголь начали привозить и автобус стал ходить пять раз в день. А еще через несколько лет у мясника появился собственный автомобиль, а потом и у бургомистра, и у зубного врача, и маляр мастер Штангльмайер завел себе мотоцикл, и его сын купил мопед, но автобус все равно ходил три раза в день, и когда нужно было сделать покупки или получить новый паспорт, никому бы не пришло в голову переть в город четыре часа пешком. Никому, кроме господина Зоммера. Господин Зоммер продолжал ходить пешком. Рано утром он защелкивал на спине рюкзак, брал в руку палку и отправлялся в путь по полям и лугам, по главным и проселочным дорогам, через лес и вокруг озера, в город и обратно, от деревни к деревне – до позднего вечера.

Самым же странным было то, что он никогда не делал никаких дел. Его рюкзак как был, так и оставался пустым, если не считать бутерброда и пелерины. Он не заходил ни на почту, ни в местную управу, это все он предоставлял своей жене. И он не наносил визитов и нигде не задерживался. По дороге в город он не заглядывал никуда, чтобы перекусить или хотя бы пропустить стаканчик, он даже не присаживался на скамью, чтобы несколько минут передохнуть, а просто вдруг разворачивался и бросался домой или еще куда-нибудь. Когда его спрашивали: «Откуда идете, господин Зоммер?» – или: «Далеко ли собрались, господин Зоммер?» – он недо-

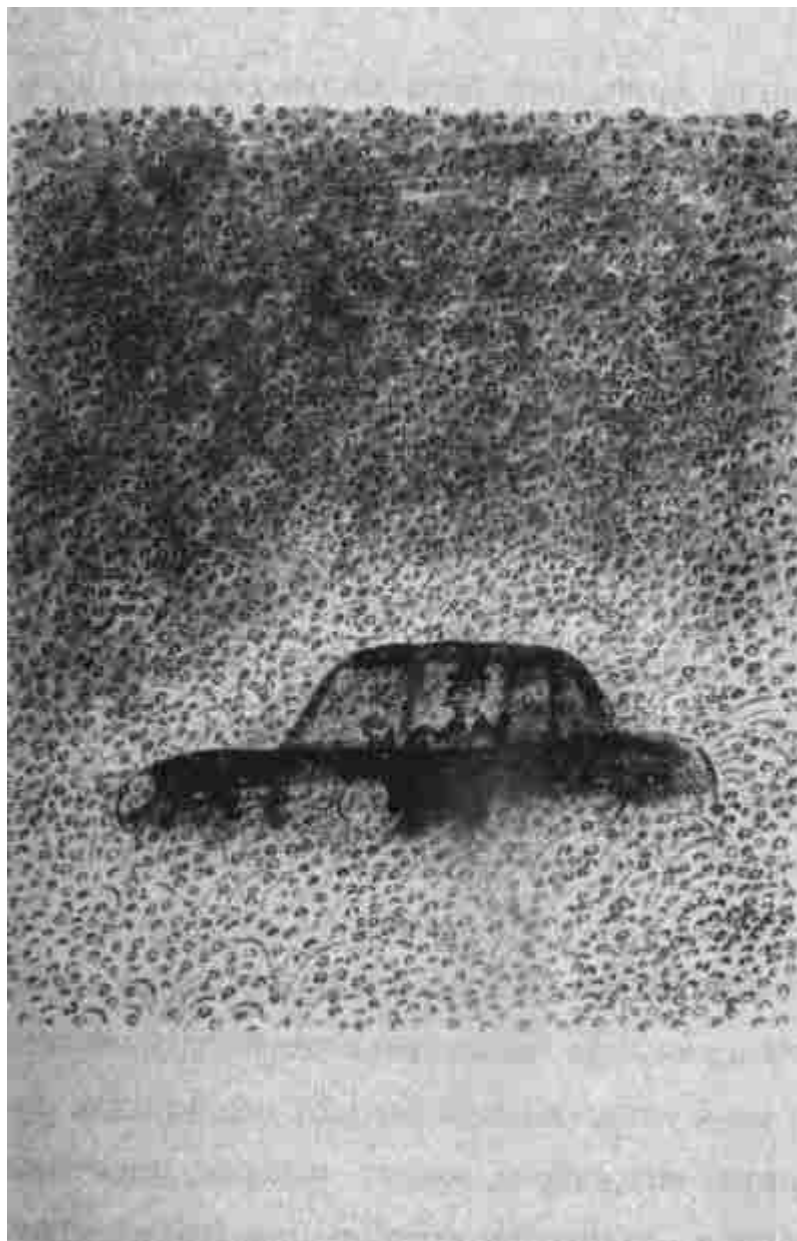
вольно тряс головой, словно на носу у него сидела муха, и бормотал про себя что-то, чего совсем или почти совсем нельзя было понять, и это бормотание звучало примерно так: «...какразсейчасоченьспешунашкольнуюгору... натотберегибыстроназад... ещесегоднянужно-непременногород... оченьспешуоченьниминутывремени...» – и, прежде чем его успевали переспросить: «Что? Как вы сказали? Куда?», – он, шаркнув палкой, усвистывал прочь.



Один-единственный раз я услышал от господина Зоммера законченную фразу, ясно и внятно произнесенную фразу, которую с тех пор не забыл. Она и сейчас звучит у меня в ушах. Это было в воскресенье, под вечер, в конце июля, во время ужасной грозы. А день начинался так прекрасно, все прямо сияло, на небе ни облачка, и еще в полдень стояла такая жара, что все время хотелось выпить холодного чая с лимоном. Мы с отцом ехали на скачки, ведь было воскресенье, а он по воскресеньям ездил на скачки и часто брал меня с собой. Кстати, не для того, чтобы играть, – упоминаю об этом к слову, – но из чистой любви к искусству. Он был страстным лошадиником, хотя сам ни разу в жизни не сидел на лошади. Он мог, например, перечислить наизусть победителей всех немецких дерби начиная с 1869 года, в прямом и обратном порядке, а победителей английских дерби и французских скачек на приз Триумфальной арки, по крайней мере самых важных, он называл с 1900 года. Он знал, какая лошадь предпочитает влажный, а какая – сухой грунт, почему старые лошади берут барьеры, а молодые никогда не бегут больше чем на 1600 метров, сколько фунтов весит тот или иной жокей и почему жена владельца повязала на шляпу ленту красно-зелено-золотого цвета. Его лошадиная библиотека насчитывала более пятисот томов, а к концу жизни он даже приобрел собственную лошадь – к ужасу мамы, заплатив за нее больше половины стоимости – шесть тысяч марок, чтобы выпустить ее на скачки в своих цветах... Но это уже другая история, я расскажу ее в следующий раз.

Итак, мы съездили на скачки, а когда под вечер возвращались домой, все еще стояла жара, было даже жарче, чем в полдень, и очень душно, и небо заволочлось тонкой дымкой. На западе собрались свинцовые тучи с гнойно-желтыми краями. Через четверть часа отцу пришлось включить фары, потому что тучи вдруг приблизились настолько, что застлали весь горизонт и отбросили на землю мрачные тени. Потом несколько порывов шквального ветра сорвались с холмов и широкими полосами упали на пшеничные поля, как будто кто-то прошелся по ним гребнем, а кусты и заросли задрожали от испуга. Почти одновременно пошел дождь, нет, еще не дождь, сначала только отдельные жирные капли, толстые, как виноградины, которые там и сям шлепались на асфальт и расплющивались на радиаторе и ветровом стекле. А потом разразилась гроза. Позже газеты писали, что такой страшной грозы в наших краях не было двадцать два года. Не знаю, правда ли это, ведь мне тогда было всего семь лет, но знаю точно, что мне не довелось второй раз в жизни пережить подобной грозы, тем более в машине на открытом шоссе. Вода уже не падала каплями, она обрушивалась с неба потоками. Очень быстро всю дорогу залило. Машина с трудом бороздила воду, с обеих сторон взметались вверх фонтаны брызг, они стояли стоймя, как водяные стены, и через ветровое стекло можно было рассмотреть только воду, хотя дворники лихорадочно мотались туда-сюда.

Но потом стало еще хуже. Потому что дождь постепенно превратился в град. Еще ничего не видя, мы услышали, как шорох сменился жесткой, звонкой дробью, почувствовали, как в машину вползает холод, и затряслись в ознобе. Потом стали видны шарики, сначала маленькие, с булавочную головку, потом побольше, размером с горошину, размером с пулю, и наконец на радиатор обрушились целые тучи гладких белых шаров, отскакивавших от капота в таком бешеном вихре, в таком хаосе, что кружилась голова. Стало невозможным продвинуться хотя бы на метр, отец остановился на обочине дороги... ах, что я говорю, какая обочина, какая дорога, в двух метрах не было видно ни обочины, ни дороги, ни поля, ни дерева, вообще ничего, только миллионы ледяных бильярдных шаров, крутившихся в воздухе и с жутким шумом колотивших по машине. Внутри машины стоял такой грохот, что разговаривать было невозможно. Мы сидели в брюхе огромного барабана, на котором выбивал дробь какой-то страшный великан, и только глядели друг на друга, дрожали от холода, и молчали, и надеялись, что наш защитный футляр не разлетится на куски.



Через две минуты все кончилось. Град вдруг прекратился, ветер утих. Теперь моросил только тихий мелкий дождь. Пшеничное поле рядом с дорогой, по которому недавно прокатился смерч, казалось растоптанным. От лежавшего за ним кукурузного поля остались лишь обломанные стебли. Сама дорога выглядела как усеянная обломками – куда ни погляди, осколки градин, сорванные листья, ветки, колосья. И совсем в конце дороги сквозь тонкую завесу моросящего дождя я смог разглядеть силуэт идущего своим путем человека. Я сказал об этом отцу, и мы оба смотрели на маленькую фигуру вдалеке, и нам казалось чудом, что где-то там, под открытым небом гуляет человек, что после такого града еще что-то держится прямо, когда все вокруг скошено, растоптано и распластано по земле. Мы двинулись дальше, скрежеща шинами по обломкам градин. Когда мы приблизились к фигуре, я узнал короткие штаны, длинные, узловатые, блестящие от влаги ноги, черную резиновую пелерину, к которой как бы прилип пустой рюкзак, и размашистую походку господина Зоммера.

Мы его нагнали, отец велел мне опустить боковое стекло, воздух снаружи был ледяной... «Господин Зоммер! – крикнул отец, высовываясь из окна. – Садитесь! Мы вас довезем!». А я, уступая место, перелез на заднее сиденье. Но господин Зоммер не ответил. Он даже не остановился. Разве что взглянул на нас искоса один раз. Торопливыми шагами, влекомый ореховой палкой, он шел дальше по усыпанной градом дороге. Отец двинулся за ним. «Господин Зоммер! – кричал он в открытое окно. – Да садитесь же! В такую погоду! Я довезу вас до дому!»

Но господин Зоммер не реагировал. Он как ни в чем не бывало маршировал дальше. Мне, правда, показалось, что он пошевелил губами и выдал один из своих неразборчивых ответов, но я ничего не расслышал, а может, его губы просто дрожали от холода. И тут мой отец наклонился

вправо и – все еще двигаясь вровень с господином Зоммером – открыл переднюю дверцу машины и закричал: «Да садитесь же, Бога ради! Вы же насквозь промокли! Вы себя погубите!»

Надо сказать, что выражение «Вы себя погубите!» было, в общем, нетипично для моего отца. Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал кому-нибудь всерьез: «Вы себя погубите!» «Это банальность, – любил он повторять. – А банальность – запомните это раз и навсегда! – это расхожая фраза, которая повторялась так часто, что окончательно утратила всякий смысл. Это так же глупо, – продолжал он, оседлав своего конька и все больше распаляясь, – так же глупо и пошло, как сказать: „Выпейте чашку чая, дорогая, это пойдет вам на пользу!“ – или: „Как дела у нашего больного, доктор? Вы думаете, он справится?“ Такие фразы берутся не из жизни, а из плохих романов и дурацких американских фильмов, а потому – запомните это раз и навсегда! – я не желаю слышать их из ваших уст!»

Таким вот манером расправлялся мой отец с выражениями типа «Вы себя погубите!» А теперь, под моросящим дождем на усеянной градинами дороге, он ехал вровень с господином Зоммером и выкрикивал в открытую дверь машины ту самую расхожую фразу: «Вы себя погубите!» И тут господин Зоммер остановился. Я думаю, он остановился как вкопанный точно на словах «себя погубите», так что отцу пришлось резко затормозить, чтобы не проехать мимо. И тогда господин Зоммер переложил ореховую палку из правой руки в левую, обернулся к нам, несколько раз с выражением упрямого отчаяния ткнул палкой в землю и громко и внятно произнес: «Да оставьте же вы меня наконец в покое!» Больше он ничего не сказал. Только одно это предложение. После чего захлопнул открытую для него дверцу, переложил палку снова в правую руку и потопал дальше, не оглянувшись ни назад, ни по сторонам.

«Этот человек совсем спятил!» – сказал отец.

Когда мы его потом обгоняли, я увидел через заднее стекло его лицо. Он смотрел в землю, поднимая взгляд только через несколько шагов, чтобы широко открытыми, чуть ли не застывшими от ужаса глазами уставиться на дорогу и удостовериться в правильности своего пути. Вода стекала с его щек, капала с носа и подбородка. Рот был слегка приоткрыт. И снова мне почудилось, что его губы шевелятся. Может быть, он на ходу разговаривал сам с собой.

Этот господин Зоммер страдает клаустрофобией, – сказала мама, когда мы сидели за ужином и разговаривали о грозе и происшествии с господином Зоммером. – У него тяжелый случай клаустрофобии, а это такая болезнь, что человек больше не может спокойно сидеть в своей комнате».

«Клаустрофобия в строгом смысле означает...» – сказал отец, «...что человек не может сидеть в своей комнате, – сказала мама. – Доктор Лухтерханд объяснил мне это во всех подробностях».

«Слово „клаустрофобия“ латинско-греческого происхождения, – сказал отец, – о чем господину доктору Лухтерханду, по всей вероятности, должно быть известно. Оно состоит из двух частей: „claustrum“ и „phobia“, где „claustrum“ означает „закрытый“, или „замкнутый“. Тот же корень встречается в слове „клозет“ или в названии немецкого города „Клаузен“, в итальянском „Чюза“ и во французском „Воклюз“. Кто из вас может привести мне еще пример слова, в котором скрыто понятие „claustrum“?»

«Я могу, – сказала сестра. – Рита Штангльмайер говорит, что господин Зоммер все время вздрагивает. Дрожит всем телом. У него все мускулы дергаются, такой уж он егоза. Это Рита так говорит. Он только сядет на стул – и уже дрожит. А когда он ходит, то не дрожит, и поэтому ему нужно всегда ходить, чтобы никто не видел, как он вздрагивает».

«В этом он похож на годовалых детей, – сказал отец. – Или на лошадей-двухлеток, которые тоже вздрагивают и дрожат всем телом, когда нервничают, впервые выходя на старт. Тогда жокеи стараются их утихомирить. Потом, конечно, все налаживается или их зашоривают. Кто из вас может мне сказать, что такое „зашорить“?»

«Чепуха! – сказала мама. – У вас в машине этот Зоммер мог дрожать сколько душе угодно. Это никому бы не помешало, подумаешь, подражал бы немного!»

«Боюсь, – сказал отец, – что господин Зоммер потому не сел к нам в машину, что я употребил клише. Я сказал: „Вы себя погубите!“ Не понимаю, как это со мной случилось. Я уверен, он сел бы в машину, употреби я не столь банальную формулировку, например...»

«Глупости, – сказала мама. – Он не сел к вам потому, что у него клаустрофобия и он не

может усидеть не только в комнате, но и в закрытом автомобиле. Спроси у доктора Лухтерханда! Стоит ему оказаться в закрытом помещении – хоть в машине, хоть в комнате, – как у него случаются припадки».

«Что такое „припадки“?» – спросил я.

«Вероятно, – сказал мой брат, который был на пять лет старше меня и прочел уже все сказки братьев Гримм, – вероятно, с господином Зоммером происходит то же, что и со Скороходом из сказки „Вшестером весь свет обойдем“, который за один день может обежать всю землю. Он, когда приходит домой, подвязывает одну ногу кожаным ремнем, а то бы он не смог устоять на месте».

«Такая вероятность, конечно, не исключается, – сказал отец. – Надо бы попросить господина доктора Лухтерханда подвязать ему какую-нибудь ногу».

«Глупости, – сказала мама. – У него клаустрофобия, вот и все, а против клаустрофобии средства нет».



Лежа в постели, я еще долго прокручивал в голове это странное слово «клаустрофобия», повторяя его на все лады, чтобы не забыть. «Клаустрофобия... клаустрофобия... у господина Зоммера клаустрофобия... это означает, что он не может оставаться в своей комнате... а то, что он не может оставаться в своей комнате, означает, что ему всегда хочется гулять... раз у него клаустрофобия, ему всегда хочется гулять... Но если „клаустрофобия“ – это то же самое, что „неохота сидеть в комнате“, а „неохота сидеть в комнате“ – это „охота гулять“, тогда „охота гулять“ и есть клаустрофобия... и тогда, значит, вместо трудного слова „клаустрофобия“ можно просто сказать „охота гулять“».

И тут у меня в голове все как-то завертелось, и я попытался побыстрее выбросить из головы это дурацкое новое слово и все, что было с ним связано. А вместо этого стал представлять себе, что у господина Зоммера ничего такого нет, а просто он гуляет и ходит по дорогам пешком, потому что ему нравится гулять точно так же, как мне нравилось залезать на деревья. Господин Зоммер гулял на свежем воздухе в свое удовольствие, вот и все, а путанные объяснения и латинские слова, которые взрослые выдумали за ужином, – такая же чепуха и глупость, как это дело с подвязанной ногой из сказки «Вшестером весь свет обойдем»!

Но через некоторое время я вспомнил лицо господина Зоммера, увиденное из окна машины, залитое дождем лицо с полуоткрытым ртом и огромными глазами, в которых застыл ужас, и я подумал, что так не смотрят в свое удовольствие, что у человека, которому хорошо и весело, не бывает такого лица. Так выглядит человек, которому страшно или так хочется пить, под проливным дождем так хочется пить, что он мог бы выпить целое озеро. И снова в голове у меня завертелось, и я изо всех сил попытался забыть лицо господина Зоммера, но чем старательнее я пытался его забыть, тем отчетливее оно вставало пред моими глазами. Я видел каждую складку, каждую морщину, каждую жемчужину пота и дождя, едва уловимое дрожание губ, которые, казалось, что-то бормотали. И бормотание становилось все громче, все разборчивее, и я расслышал умоляющий голос господина Зоммера: «Да оставьте же вы меня наконец в покое! Оставьте, оставьте меня наконец в покое!..»

И только тогда я смог оторвать от него свои мысли. Мне помог его голос. Лицо исчезло, и я тотчас заснул.

Со мной в классе училась одна девочка, ее звали Каролина Кюкельманн. У нее были темные глаза, темные брови и темно-каштановые волосы с заколкой справа надо лбом. На затылке и в маленькой впадинке между мочкой уха и шеей у нее на коже рос легкий пушок, который отсвечивал на солнце и тихонько подрагивал на ветру. Когда она смеялась своим чудесным хрипловатым голосом, ее шея выпрямлялась и голова откидывалась назад, а все лицо сияло от удовольствия и глаза почти закрывались. Я мог бы не отрываясь глядеть на это лицо, я и глядел, когда только мог, на уроках и переменах. Но я делал это украдкой, чтобы никто не заметил, даже сама Каролина, потому что я был очень застенчивым.

Я не был таким застенчивым в своих мечтах. В мечтах я брал ее за руку и уводил в лес, и мы вместе забирались на деревья. Сидя с ней рядом на какой-нибудь ветке, я глядел на ее совсем близкое лицо и рассказывал истории. И ей становилось смешно, она смеялась, откидывая назад голову и закрывая глаза, и разрешала тихонько подуть ей в затылок, где была впадинка и рос пух. Такие и им подобные мечты посещали меня по нескольку раз в неделю. Они были прекрасны – не могу пожаловаться, – но ведь это были всего лишь мечты и, как все мечты, они по-настоящему не утоляли душевного голода. Я отдал бы все на свете за то, чтобы хоть один раз, один-единственный раз по-настоящему оказаться наедине с Каролиной и подуть ей в затылок или еще куда-нибудь... К сожалению, на это не было никакой надежды, потому что Каролина, как и большинство других детей, жила в деревне Верхнее Озеро, а я один из класса жил в Нижнем Озере. Наши дороги расходились почти сразу за воротами школы и всегда бежали в разные стороны вниз со Школьной горы и через луга к лесу, но, прежде чем исчезнуть в лесу, они разбегались так далеко, что я уже не мог различить Каролину в группе других детей. Только иногда до меня доносился ее смех. Не во всякую погоду, а только при южном ветре. Тогда этот хрипловатый смех долетал до меня очень издалека, через все поля, и провожал до самого дома. Но когда еще в наших краях дожدهшься южного ветра!

И вот однажды – это было в субботу – подбегает ко мне Каролина, становится рядом, совсем близко, и говорит:

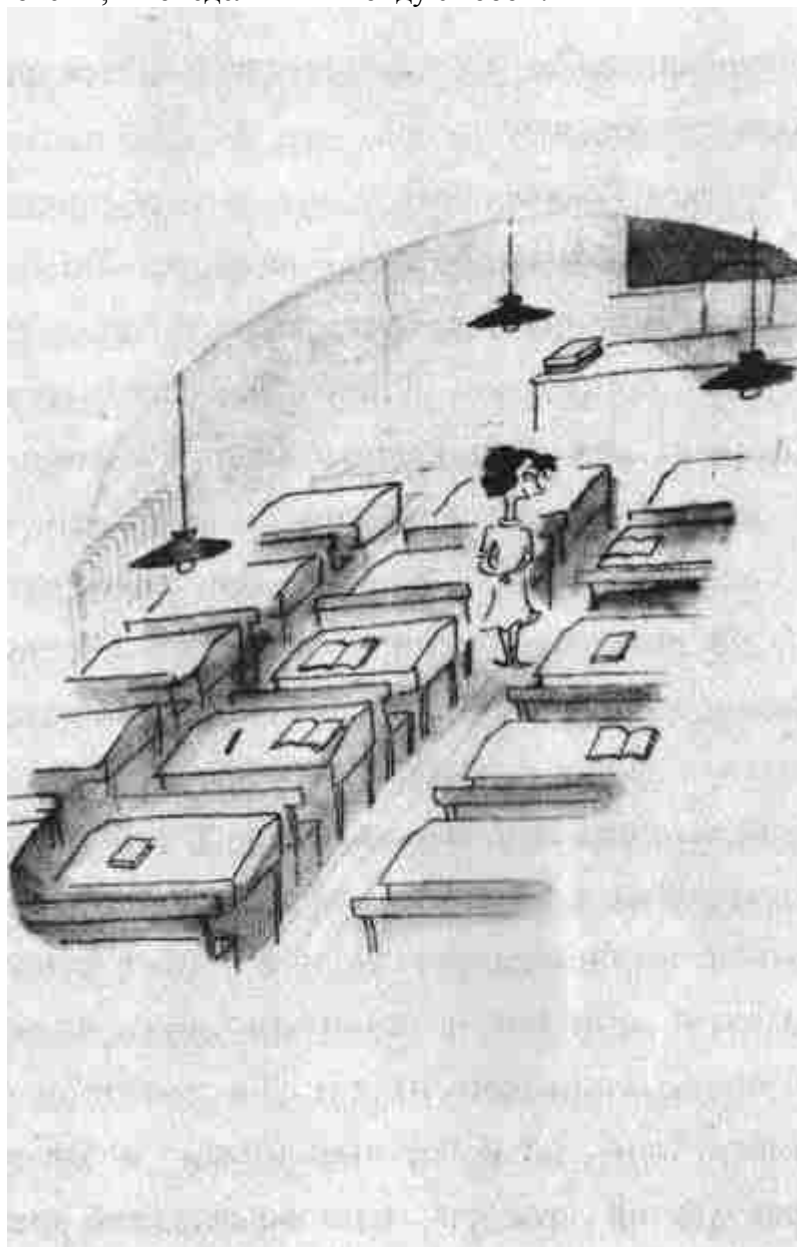
– Слушай! Ведь ты всегда ходишь до Нижнего Озера?

– Да, – говорю.

– Слушай! Хочешь, в понедельник я пойду с тобой?

И стала что-то еще объяснять: дескать, у ее матери есть подруга, которая живет в Нижнем Озере, и что мать пойдет за ней к этой подруге, и что потом они с матерью или с этой подругой или с матерью и с этой подругой... не помню, забыл, наверное, тогда сразу же и забыл, она еще и сказать не успела, потому что был так ошарашен, так потрясен фразой: «Хочешь, в понедельник я пойду с тобой?», что больше вообще ничего не мог или не хотел слышать, кроме этой одной

чудесной фразы: «Хочешь, в понедельник я пойду с тобой?»



Весь день, да и все выходные, у меня в ушах звучала эта фраза, и звучала она так прекрасно – ах, да что я говорю! – она звучала прекраснее всего, что я уже прочел у братьев Гримм, прекраснее, чем обещание Принцессы в «Короле-лягушонке»: «Ты будешь есть с моей тарелочки, ты можешь спать в моей постельке», и я считал дни нетерпеливей, чем Румпельштильцхен: «Сегодня я жарю, завтра парю, послезавтра заберу у королевы дочку!» Я чувствовал себя сразу и Счастливым Гансом, и Братом Весельчаком, и Королем Золотой Горы... «Хочешь, в понедельник я пойду с тобой?»

Я занялся приготовлениями. В субботу и воскресенье я обошел лес, чтобы выбрать самый лучший маршрут. Ведь то, что я с Каролиной не пойду по обычной дороге, было очевидно с самого начала. Ей предстояло узнать мои самые тайные тропы, я хотел показать ей красоты, известные лишь мне одному. Как только она увидит все великолепие, которое я открою ей на моем, на нашем общем пути в Нижнее Озеро, путь в Верхнее Озеро станет лишь блеклым воспоминанием.

После долгих размышлений я решил выбрать тропу, которая сразу за опушкой леса ответвлялась от дороги, спускалась по ложбине к пихтовому заказнику, вела через мшаник к лиственной роще и уже оттуда круто сбегала к озеру. Этот маршрут был нашпигован не менее чем шестью достопримечательностями, и я хотел показать их Каролине, сопроводив демонстрацию развернутыми пояснениями. Конкретно имелись в виду:

а) трансформаторная будка, поставленная у самой дороги; из нее доносилось жужжание, а на двери висел желтый щиток с нарисованной на нем красной молнией и надписью: «Осторожно

– высокое напряжение – опасно для жизни!»;

б)

скопление семи малиновых кустов со спелыми ягодами;

в)

кормушка для ланей – в настоящее время, правда, без сена, но зато с большим куском каменной соли для облизывания;

г)

дерево, о котором говорили, что на нем после войны повесился один старый наци;

д)

муравейник высотой почти что в метр и диаметром в полтора метра и, наконец, как завершение и высшая точка маршрута;

е)

красивый старый бук, на который я задумал залезть вместе с Каролиной, чтобы, сидя на какой-нибудь прочной развилке, насладиться видом озера с десятиметровой высоты, а потом наклониться к ней и подуть в затылок.



Из кухонного шкафа я укра.1 кексы, из холодильника – банку йогурта, а из подвала – два яблока и бутылку смородинового сока.

Уложив все это в коробку из-под ботинок, я в воскресенье днем депонировал коробку на развилке, чтобы у нас была провизия. Вечером в постели я придумал две смешные истории, которыми намеревался развлечь Каролину: одной по дороге, другой – во время пребывания на буке. Я еще раз зажег свет, нашел в ящике ночного столика маленький гаечный ключ и сунул его

в школьный ранец, чтобы завтра подарить его ей на прощание как одну из моих драгоценностей. Снова забравшись в постель, я повторил про себя обе истории, повторил самым точным образом намеченный на завтра распорядок дня, повторил несколько раз маршрут от а) до е) и момента вручения гаечного ключа, повторил содержимое коробки из-под ботинок, уже лежавшей в лесу на развилке бука и с нетерпением нас ожидавшей... никогда еще ни одно свидание не планировалось столь тщательно!... и наконец погрузился в блаженный сон, повторяя ее нежные слова: «Хочешь, в понедельник я пойду с тобой?»

Понедельник был безупречно хорош. Светило нежаркое солнце, небо было ясным и голубым, как вода, в лесу заливались дрозды, а дятлы молотили по деревьям так, что все вокруг отзывалось эхом. Только теперь, по дороге в школу, мне пришло в голову, что во время своих приготовлений я совершенно не учел, что бы мы делали с Каролиной в лесу в плохую погоду. Маршрут из точки а) в точку б) под дождем или в бурю был бы настоящей катастрофой – с растерзанными кустами малины, невзрачным муравейником, хлюпающим мокрым мшаником, непреодолимо скользким буком и сброшенной на землю или размокшей коробкой с провизией. Я упоенно предавался этим катастрофальным фантазиям, чувство сладостной, ибо излишней, озабоченности переполняло меня прямо-таки триумфальным счастьем. Мало того что я ни разу не вспомнил о погоде – нет, погода сама вспомнила обо мне! Мало того что сегодня я получил право сопровождать Каролину Кюкельманн – нет, я получил в придачу и самый прекрасный день в году! Я был счастливчик. На мне покоился благосклонный взор Господа Бога. Только бы теперь, думал я, при таком везении не натворить глупостей. Только бы теперь не совершить никакой ошибки, из высокомерия или гордости, как это всегда случалось с героями сказок, из-за чего они все-таки разрушали свое счастье, а оно казалось им таким прочным!

Я заторопился. Не хватало еще опоздать в школу. На уроках я вел себя как никогда безупречно, чтобы не дать учителю ни малейшего повода оставить меня после занятий в школе. Я был смиренным, как ягненок, и одновременно внимательным, послушным и старательным, беспримерно примерным учеником. Ни единого раза я не взглянул на Каролину, заставил себя не смотреть, пока еще не смотреть, я запретил это себе почти суеверно, как будто из-за преждевременного взгляда мог бы в конце концов все-таки ее потерять... Когда уроки кончились, выяснилось, что девочек оставляют еще на час, не знаю почему, может быть, на урок рукоделия или по какой-то иной причине. Во всяком случае, отпустили только нас, мальчиков. Я не воспринял этот инцидент трагически – напротив. Он казался мне дополнительным испытанием, которое я должен и готов был выдержать. Он придавал желанному свиданию с Каролиной особую торжественность: нам предстояло целый час ждать друг друга!

Я ждал на развилке между Верхним Озером и Нижним Озером, метрах в двадцати от школьных ворот. Там из земли торчал камень, большущий гладкий валун с углублением посредине в форме копыта. Оно называлось Чертов След. Рассказывали, что в незапамятные времена здесь со злости топнул ногой черт, потому что крестьяне построили поблизости церковь. Я уселся на валун и стал коротать время, вода пальцем в лужице дождевой воды, скопившейся в чертовом копыте, и стряхивая воду на землю. Солнце пригревало мне спину, небо все еще оставалось безмятежно синим, я сидел и стряхивал воду и не думал ни о чем, и мне было так хорошо, что нельзя и описать.

Потом наконец выходят девочки. Сначала мимо меня пролетает целая стая, и самой последней появляется она. Я встаю, она бежит ко мне, волосы растрепались, схваченная заколкой прядь на лбу прыгает вверх-вниз; на ней лимонно-желтое платье, я протягиваю ей руку, она стоит совсем близко, как тогда, на перемене, я хочу схватить ее за руку, привлечь к себе и лучше бы всего сразу обнять и поцеловать прямо в лицо, а она говорит:

– Слушай! Сегодня я все-таки не пойду с тобой. Подруга моей мамы заболела, и мама к ней не пойдет, и мама сказала, что...





И на меня обрушилась целая лавина объяснений, которых я даже не слышал и уж тем более не запомнил, потому что голова у меня стала вдруг какая-то тупая, а ноги ватные, помню только, что по окончании своей речи она совершенно неожиданно повернулась и лимонно-желто побежала в сторону Верхнего Озера, очень быстро, чтобы догнать других девочек.

Я пошел вниз со Школьной горы домой.

Наверное, я шел очень медленно, потому что, дойдя до опушки, безучастно поглядел на далекую дорогу к Верхнему Озеру, но там уже никого не было. Я остановился, обернулся и бросил прощальный взгляд на волнистую линию холмов Школьной горы. На лугах лежало сытое солнце, ни тени ветра не падало на травы. Пейзаж словно окаменел. И тут я увидел точку, которая двигалась. Одну точку, совсем слева у опушки. Точка сместилась вправо, вдоль опушки леса, потом вверх по Школьной горе и, точно следуя линии гребня, стала уходить на ту сторону, к югу. Теперь она четко выделялась на голубом фоне неба: там, наверху, хотя и крохотный, как муравей, шел человек, и я узнал три ноги господина Зоммера. С равномерностью часового механизма, малюсенькими, быстрыми, как секунды, шажками, ноги бежали вперед, и далекая точка – медленно и быстро, подобно большой часовой стрелке, – исчезла за горизонтом.



Через год я научился ездить на велосипеде, что было не так уж и рано, ведь я имел рост метр тридцать пять, вес тридцать два кило и размер ботинок тридцать два с половиной. Но езда на велосипеде никогда меня особенно не интересовала. Этот ненадежный способ продвижения вперед всего лишь на двух тонких колесах представлялся мне весьма несолидным, даже нереальным, так как никто не мог мне объяснить, почему велосипед в состоянии покоя, если его не подпереть, не прислонить или не удержать, сразу падает – но не должен упасть, если человек весом в тридцать два кило сядет на него и поедет куда глаза глядят без всякой поддержки и опоры.

Законы природы, лежащие в основе этого феномена, а именно законы волчка и, в частности, так называемый принцип сохранения вращательного импульса, были мне тогда совершенно неизвестны, я и сегодня еще не совсем их понимаю, при одном упоминании о принципе сохранения вращательного импульса мне становится как-то не по себе и настолько муторно, что известное место у меня на затылке начинает ныть и дергаться.



Я, вероятно, вообще никогда не научился бы ездить на велосипеде, если бы не настоятельная необходимость. А настоятельная необходимость возникла потому, что я должен был брать уроки игры на фортепьяно. А уроки игры на фортепьяно я мог брать только у учительницы музыки, которая жила на другом конце Верхнего Озера, куда пешком пришлось бы идти целый час, а на велосипеде – согласно предварительным расчетам моего брата – можно было доехать за тринадцать с половиной минут.

Эту учительницу музыки, у которой раньше брали уроки игры на фортепьяно моя мама, и моя сестра, и мой брат, и вообще любой человек во всем приходе, умевший нажать клавишу какого-нибудь инструмента – от церковного органа до аккордеона Риты Штангльмайер, – эту учительницу звали Мари-Луиза Функель, а именно барышня Мари-Луиза Функель. Обращению «барышня» она придавала величайшее значение, хотя я в жизни не встречал существа женского пола, которое меньше походило бы на барышню, чем Мари-Луиза Функель. Она была очень старая, седая как лунь, горбатая, сморщенная, с черными усиками на верхней губе, и у нее не

было вообще никакой груди. Я знаю это потому, что однажды нечаянно пришел на урок на час раньше времени, когда она еще спала после обеда. Помню, как она появилась в дверях своей огромной старой виллы, облаченная только в юбку и нижнюю рубашку, не в изящную, широкую, шелковую ночную сорочку, как подобает дамам, а в тесную майку без рукавов, в каких мы, мальчишки, приходили на урок физкультуры, и из этой трикотажной майки свисали ее морщинистые руки и вылезала ее худая кожаная шея, а под майкой все было плоско и постно – как куриная грудка. И несмотря на это, она, как я уже говорил, настаивала на обращении «барышня Функель», а именно потому, что иначе мужчины – она сама это часто объясняла, хотя ее никто не спрашивал, – мужчины могли бы подумать, что она уже замужем, а она, напротив, незамужняя девица, и ее еще можно посватать. Это объяснение было, разумеется, чистой нелепостью, потому что такого мужчины, который посватался бы к старой, усатой, безгрудой Мари-Луизе Функель, не нашлось бы на всем белом свете.



На самом деле барышня Функель называла себя «барышней», поскольку никак не могла называться «госпожой Функель», даже если бы захотела, так как существовала еще и госпожа Функель... нет, я, кажется, должен уточнить: госпожа Функель еще существовала. Дело в том, что у барышни Функель имелась мать. И если я прежде сказал, что барышня Функель была очень старая, то уж про госпожу Функель не знаю, что и сказать: она была древняя, как камень, как кость, как дерево, старая-престарая... Думаю, ей было не меньше ста лет. Госпожа Функель была настолько стара, что надо бы, в сущности, сказать, что она вообще еще наличествовала только в очень узком смысле слова, скорее как мебель, как запыленная препарированная бабочка или как хрупкая тонкая старинная ваза, нежели как человек из плоти и крови. Она не двигалась, не разговаривала, и я не знаю, насколько она видела и слышала, – я видел ее только сидящей. А сидела она – летом затянута в белое тюлевое платье, зимой закутанная в черный бархат, из ко-

того высовывалась ее черепашня головка, – в вольтеровском кресле в самом заднем углу комнаты с роялем, под часами с маятником, молчаливая, неподвижная, никем не замечаемая. Только в очень, очень редких случаях, когда ученик особенно хорошо выучивал домашнее задание и без ошибок исполнял этюды Черни, барышня Функель в конце урока могла выйти на середину комнаты и зарычать оттуда, адресуясь к вольтеровскому креслу: «Ма! – она называла свою мать „Ма". – Дай мальчику кекс, он так хорошо играл!» И тогда нужно было пройти через всю комнату в угол, встать вплотную к вольтеровскому креслу и протянуть старой мумии руку. И снова раздавался рык барышни Функель: «Дай мальчику кекс, Ма!» – и тогда, неописуемо медленно, откуда-то из тюлевой оболочки или из черного бархатного одеяния выпрастывалась голубоватая, дрожащая, стеклянно тонкая старческая рука, не сопровождаемая ни глазами, ни черепашью головой, перемещалась направо через подлокотник кресла к маленькому сервировочному столику, на коем стояла ваза с кексами, извлекала из вазы один кекс, обычный, прямоугольный вафельный кекс с белой кремовой начинкой, и так же медленно перемещалась с этим кексом обратно через стол, через подлокотник вольтеровского кресла, мимо колен к протянутой детской руке и костлявыми пальцами вкладывала кекс в эту руку, как кусок золота.



Иногда случалось, что при этом детская рука и кончики старческих пальцев на краткий миг соприкасались, и становилось очень страшно, потому что вместо ожидаемого контакта с чем-то жестким и холодным, как рыба, происходило теплое, даже горячее и притом невероятно нежное, легковесное, беглое и все-таки вызывавшее ужас касание, словно тебя задела птица, вылетевшая из чьей-то руки. Оставалось только выдавить из себя: «Большое спасибо, госпожа Функель», и можно было удирать прочь из этой комнаты, из этого мрачного дома на улицу, на свежий воздух, на солнце.

Не помню, сколько мне понадобилось времени, чтобы овладеть непостижимым искусством езды на велосипеде. Помню только, что я освоил его самостоятельно, со смесью отвращения и упорного азарта, экспериментируя с маминим велосипедом на покатоj дорожке в лесу, где меня никто не мог увидеть. Заросли по обеим сторонам дорожки были такими густыми и высокими, что я мог в любой момент зацепиться за кусты и остановиться, а падать было довольно мягко, в листву или на рыхлую землю. И в какой-то очередной раз после многих, многих неудачных попыток, почти ошеломляюще неожиданно, я вдруг почувствовал, что качусь. Назло всем моим теоретическим соображениям и глубокому скепсису я свободно двигался на двух колесах; поразительное чувство и гордое! На террасе нашего дома и прилегающем газоне состоялся мой испытательный заезд, награжденный аплодисментами родителей и пронзительным хохотом сестры и брата. В заключение брат преподал мне важнейшие правила уличного движения: прежде всего, правило строго держаться правой стороны, причем правая сторона определялась как та, где на руле находится ручной тормоз, и с тех пор я один-одинешенек ездил раз в неделю на урок музыки к барышне Функель, по средам, днем, с трех до четырех. Конечно, о тринадцати с половиной минутах, которые затрачивал на преодоление этой дистанции мой брат, в моем случае не могло быть и речи.

Еще и сегодня я придерживаюсь этой впечатляющей дефиниции, когда в состоянии минутного замешательства забываю, где право, а где лево. Тогда я просто представляю себе велосипедный руль, мысленно нажимаю на ручной тормоз и снова отлично ориентируюсь в ситуации. На велосипед с двумя ручными тормозами или – еще хуже – с левым тормозом я не сел бы никогда в жизни.

Брат был старше меня на пять лет и щеголял на велосипеде с гоночным рулем и тремя скоростями. Я же крутил педали, стоя на велосипеде моей мамы, слишком большом для меня. Даже спустив до упора седло, нельзя было одновременно и сидеть на нем, и крутить педали, можно было только или сидеть, или крутить, а этот способ передвижения был весьма неэффективным, утомительным и, как я понимал, со стороны казался чрезвычайно смешным. Я должен был стоя нажимать на педали, приводя велосипед в движение, на полном ходу плюхаться на седло, удерживаться на тряске сиденья, широко разведя или задрав вверх ноги, пока велосипед почти не остановится, а потом снова вставать на вращающиеся педали и развивать скорость. Таким толчковым способом я одолевал путь от нашего дома, вдоль берега, через Верхнее Озеро, до виллы барышни Функель всего за двадцать минут, если – вот именно, если! – по дороге не встречалось никаких препятствий. А препятствий встречалось много. Дело Б том, что хотя я мог ездить, рулить, тормозить, садиться, слезать и т.п., я не умел обгонять, пропускать вперед или разъезжаться со встречным движущимся объектом. Едва заслышав шум мотора идущего впереди или сзади автомобиля, я тут же тормозил, слезал и ждал, пока он пройдет. Завидев впереди других велосипедистов, я останавливался и ждал, пока они проедут мимо. Обгоняя прохожего, я, немного не доехав до него, слезал, бежал бегом, толкая велосипед, пока не оставлял пешехода далеко позади, и только тогда снова ехал. Чтобы ехать, мне нужен был совершенно свободный в обоих направлениях участок дороги, и никто, по возможности, не должен был наблюдать за мной. И наконец, на полпути между Нижним Озером и Верхним Озером имелся еще пес госпожи д-р Хартлуб, отвратительный маленький терьер, который вечно носился по дороге и с тявканьем кидался на все, что имело колеса. Избежать его наскоков можно было только одним способом: направить велосипед на обочину, ловко остановиться у садового забора и крепко вцепиться в штакетину, чтобы, подобрав ноги, скрючиться на седле и ждать до тех пор, пока госпожа д-р Хартлуб свистом не отзовет своего зверя. Так что неудивительно, что в подобных обстоятельствах мне часто не хватало и двадцати минут для преодоления пути на другой конец Верхнего Озера, а потому я взял себе за правило, безопасности ради, отправляться из дому уже в половине третьего, чтобы более или менее вовремя появиться у барышни Функель.

Рассказывая о том, что барышня Функель иногда поручала своей матери угощать учеников кексами, я намеренно уточнил, что это происходило в очень, очень редких случаях и отнюдь не было правилом. Потому что барышня Функель отличалась строгостью, и ей было трудно угождать. Если ты небрежно приготовил урок и при игре с листа брал одну за другой фальшивые ноты, она начинала угрожающе трясти головой, багровела, толкала тебя локтем в бок, яростно щелкала пальцами и вдруг раздражалась громким рыком, извергая бешеную брань. Самую страшную из подобных сцен я пережил примерно через год после того, как начал учиться музы-

ке, и сцена эта так меня потрясла, что я еще и сегодня не могу вспоминать о ней без содрогания.

Я опоздал на десять минут. Терьер госпожи д-р Хартлауб пригвоздил меня к забору, два автомобиля попались навстречу, и пришлось обгонять четырех пешеходов. Когда я заявился к барышне Функель, она уже бегала взад-вперед по комнате, вся багровая, тряся головой и оглушительно щелкая пальцами.

«Ты знаешь, который час?» – проворчала она. Я молчал. У меня не было часов. Свои первые наручные часы я получил в подарок к тринадцатилетию.

«Гляди! – возопила она и щелкнула в направлении угла, где над неподвижно восседавшей Ма Функель тикали настенные часы с маятником. – Ровно четверть четвертого! Где ты опять шлялся?»

Я залепетал что-то о собаке госпожи д-р Хартлауб, но она не дала мне оправдаться. «Собака! – перебила она меня. – Так и есть, играл с собакой! Еще скажи, что ел мороженое! Знаю я вас! Вечно торчите у киоска госпожи Хирт и только и думаете, как бы налопаться мороженого!»

Ну уж это была чудовищная подлость! Бросать мне упрек в том, что я якобы покупаю мороженое в киоске госпожи Хирт! Когда я еще даже не получал карманных денег! Мой брат и его приятели – те занимались подобными вещами. Они просаживали в киоске госпожи Хирт все свои наличные. Но только не я! Я был вынужден униженно выклянчивать у мамы или сестры каждую порцию мороженого! Я спешил на урок музыки, преодолевая в поте лица огромные трудности, а меня обвинили в том, что я ошиваюсь вокруг киоска госпожи Хирт и лопаю мороженое! Это была такая низость, что я просто онемел от обиды и расплакался.

«Прекрати реветь! – гаркнула барышня Функель. – Вынимай свои ноты и показывай, что ты выучил! Наверное, опять не играл упражнений?»

В этом она, увы, была права. Действительно, на прошлой неделе мне было почти совсем не до музыки, во-первых, потому, что у меня было полно других важных дел, а во-вторых, потому, что заданные этюды были отвратительно трудны, какая-то фугообразная дребедень в шаге канона, правая и левая рука расходятся Бог знает как далеко, одна ни с того ни с сего застревает там, другая ни с того ни с сего застревает здесь, все это в занудном ритме с необычными интервалами, да сверх того и ужасное звучание. Фамилия композитора, если не ошибаюсь, была Хесслер, черт бы его побрал!

Тем не менее полагаю, что я довольно пристойно продрался бы через обе пьесы, если бы не различные волнения по дороге на урок – главным образом наскоки терьера госпожи д-р Хартлауб – и взбучка, которую в довершение всех бед учинила мне барышня Функель, полностью растрепав мои нервы. И вот я сидел за роялем, весь дрожа и обливаясь потом, с затуманенными от слез глазами... передо мной восемьдесят восемь клавиш и этюды господина Хесслера, а в затылок мне гневно дышит барышня Функель... конечно, это был полный провал. Я все перепутал, басовый и скрипичный ключи, половинки и целые ноты, паузы в четверть и паузы в одну восьмую такта... Я даже не доиграл до конца первой строки, когда клавиши и ноты расплылись в калейдоскопе слез и я, опустив руки, тихо разрыдался.

«Так я и ззнала! – зашипело сзади, и мельчайшие брызги слюны оросили мой затылок. – Так я и ззнала! Опаззздывать и есть морожжженое и выдумывать разззные отговорки, на это госсспода массстаки! А делать уроки, это не для вассс! Погоди, негодник! Я тебя кое-чему науччу!» И с этими словами она выскочила у меня из-за спины, шлепнулась рядом со мной на банкетку, двумя руками сцапала мою правую руку и, ухватив за пальцы, стала тыкать ими в клавиши, каждым по отдельности, как это сочинил господин Хесслер. «Берешь этим! И вот этим! А здесь большим! А здесь третьим! И вот этим! А здесь вот этим!..»

Покончив с моей правой, она взялась за левую, действуя тем же методом: «Берешь этим! И вот этим! И вот этим!..»

Она так яростно жала на мои пальцы, словно хотела вдавить этюд мне в руки, нота за нотой. Это было здорово больно и продолжалось примерно полчаса. Наконец она отцепилась от меня, захлопнула тетрадь и фыркнула: «К следующему разу ты его выучишь, и не только с листа, а наизусть, и аллегро, не то тебе худо придется!» После чего раскрыла толстую партитуру для исполнения в четыре руки и шмякнула ее на нотную подставку: «А теперь мы с тобой еще десять минут играем Диабелли, чтобы ты наконец научился читать ноты. И попробуй сделать хоть одну ошибку!»

Я покорно кивнул и рукавом вытер слезы. Диабелли мне нравился, не то что этот осквер-

нитель фуги, жуткий Хесслер. Играть Диабелли было просто, до глупости просто, и при этом он же всегда превосходно звучал. Я любил Диабелли, хотя моя сестра как-то заявила: «Кто вообще не умеет играть на рояле, может на худой конец сыграть Диабелли».

Итак, мы играли Диабелли в четыре руки, барышня Функель слева, рокоча в басу, я двумя руками в унисон справа, в дисканте. Некоторое время все шло довольно гладко, я чувствовал себя все более уверенно, благодарил Бога за то, что он создал композитора Антона Диабелли, и в этом своем состоянии блаженного облегчения забыл, что маленькая сонатина написана в соль мажоре и, значит, при ключе стоит фа-диез; это предполагало, что нельзя все время спокойно двигаться по белым клавишам, а надо в определенных местах, хотя этого и не написано в нотах, нажимать на черную клавишу, то есть брать ту самую фа-диез, находившуюся как раз полутоном ниже соль. И вот когда фа-диез в первый раз появилась в моей партии, я ее не узнал, проскочил и взял вместо нее чистое фа, что, как тотчас поймет всякий любитель музыки, произвело неприятный диссонанс.

«Ты опять за свое! – фыркнула барышня Функель, оборвав игру. – В этом ты весь! При первой малейшей трудности их превосходительство изволит фальшивить. Ты что, слепой? Фа-диез! Тут же написано черным по белому! Заруби себе на носу! Еще раз сначала! Раз-два-три-четыре...»

Как это вышло, что я во второй раз сделал ту же ошибку, мне не совсем понятно даже сегодня. Вероятно, я так боялся ее сделать, что мне после каждой ноты чудилась фа-диез, я был готов играть сплошные фа-диезы и одергивал себя, стараясь не играть фа-диез, пока еще не играть фа-диез, пока еще... ну и, конечно, в том же месте снова вместо фа-диез взял фа.

Она вдруг побагровела и как завизжит: «Да что же это такое! Я сказала фа-диез, черт тебя дери! Ты что, не знаешь, что такое фадиез, болван ты этакий! Вот это что! – Блям-блям... и она ткнула указательным пальцем, кончик которого за десятилетия преподавания игры на фортепьяно успел расплющиться как монета в десять пфеннигов, в черную клавишу полутоном ниже соль. – Вот фа-диез!... блям-блям... Вот...» И в этом месте она чихнула. Чихнула, быстро мазнула себя по усам упомянутым указательным пальцем и в заключение еще два-три раза вдарила по клавише, громко визжа: «Вот фа-диез, вот фа-диез!...» Потом вытащила из-за манжеты носовой платок и высморкалась.

Я же взглянул на фа-диез и обомлел. На переднем краю клавиши приклеилась отливающая зелень, длиной примерно в палец, толщиной почти с карандаш, изогнутая, как червяк, порция слизисто-свежей сопли, явно произведенной носом барышни Функель, откуда она путем чихания попала на усы, с усов при их вытирании переместилась на указательный палец и уже с указательного пальца соскользнула на фа-диез.

«Еще раз снова! – зарычало рядом со мной. – Раз-два-три-четыре...» – и мы заиграли.

Следующие тридцать секунд я отношу к самым ужасным моментам своей жизни. Я чувствовал, как кровь отливает от щек, а затылок покрывается холодным потом. Волосы у меня на голове встали дыбом, уши то пылали, то леденели, и вдруг оглохли, словно их заткнули пробкой, я почти не слышал прелестной мелодии Антона Диабелли, которую играл механически, не глядя в ноты, после второго раза пальцы двигались сами собой... я только не мог отвести глаз от стройной черной клавиши полутоном ниже соль, к которой приклеилась сопля Мари-Луизы Функель... еще семь тактов... еще шесть... не было ни малейшей возможности нажать на клавишу, чтобы не вляпаться прямо в зеленую слизь... еще пять тактов... но если я не вляпаюсь и в третий раз возьму фа вместо фа-диез, то... еще три такта... о Боже милостивый, сотвори чудо! Скажи что-нибудь! Сделай что-нибудь! Обрати время вспять, чтобы мне не пришлось играть эту фа-диез!... еще два такта, еще один... и Господь Бог промолчал и ничего не сделал, и вот он, последний чудовищный такт, он состоял – как сейчас помню – из шести восьмушек, сбегавших от ре к фа-диез и впадавших в лежавшую полутоном выше и длившуюся одну четверть соль... мои пальцы спускались в ад по этой лестнице восьмушек, ре-до-си-ля-соль... – «Теперь фа-диез!» – закричало рядом со мной, и я, в ясном уме и твердой памяти, с полным презрением к смерти сыграл фа.

Я едва успел снять пальцы с клавиатуры, как крышка рояля захлопнулась, и в ту же секунду барышня Функель, как ужаленная, вскочила с банкетки.

«Ты сделал это нарочно! – возопила она, задыхаясь от злости и так пронзительно, что у меня, несмотря на глухоту, зазвенело в ушах. – Нарочно это сделал, паршивец! Упрямый сопляк!

Бессовестный маленький негодяй! Ах ты...»

Она с диким топотом носилась вокруг обеденного стола, стоявшего посредине комнаты, и на каждом втором слове грохала по нему кулаком.

«Но меня не проведешь, понял? Ты что себе воображаешь? Со мной твои штуки не пройдут! Я позвоню твоей матери. Я позвоню твоему отцу. Я потребую, чтобы тебе надрали задницу, тебя выпорют так, что ты неделю сидеть не сможешь! Я потребую, чтобы ты три недели безвыходно сидел дома и каждый день по три часа играл гамму соль мажор, и вдобавок ре мажор, и вдобавок ля мажор, с фа-диезом, до-диезом и соль-диезом, пока не вызубришь их так, что сыграешь и во сне! Ты меня еще не знаешь, негодник! Ты у меня еще... вот я сейчас тебе... лично... собственноручно...»

И тут у нее от ярости сорвался голос, и она совсем задохнулась, замахала в воздухе руками и побагровела так, словно вот-вот лопнет, и наконец, схватив яблоко из стоявшей перед ней на столе фруктовой вазы, залепила им в стену с такой силой, что оно расквасилось на стене в коричневое пятно рядом с часами с маятником, висевшими прямо над черепашьей головой ее матери.

И тут, словно кто-то нажал на кнопку, куча тюля шевельнулась, и из складок одеяния, как привидение, высунулась старческая рука, чтобы автоматически переместиться направо, к кексам...

Но барышня Функель этого даже не заметила, это видел только я. Она же, напротив, рывком распахнула дверь, повелительным жестом указала на выход и, когда я, шатаясь, вышел вон, с треском захлопнула ее за мной.



Я дрожал всем телом. Колени подкашивались так, что я едва мог идти, не то что ехать на

велосипеде. Трясушимися руками я закрепил ноты на багажнике и повел велосипед рядом с собой. И пока я шел, ведя велосипед, в душе моей бурлили самые мрачные мысли. Все во мне ходило ходуном, от возбуждения меня била дрожь, как на лютом морозе, и не из-за нахлобучки барышни Функель, не из-за угроз порки и домашнего ареста, не со страха перед чем бы то ни было, а из-за откывшейся мне невыносимой истины, что весь мир есть не что иное, как сплошная, несправедливая, злобная, коварная подлость. И виноваты в этой гнусной подлости другие. А именно все. Все без исключений. Например, мама, которая не купила мне приличный велосипед; отец, который во всем ей потакал; брат и сестра, которые издевательски хохотали над тем, что мне приходится ездить стоя; мерзкий кобель госпожи д-р Хартлауб, который вечно меня терроризировал; пешеходы, которые загораживали улицу так, что я неизбежно опаздывал; композитор Хесслер, который до смерти надоел мне своими фугами; барышня Функель с ее лживыми обвинениями и отвратительной соплей на фа-диезе... да и сам Господь Бог, да, так называемый Господь милосердный. Раз в жизни, раз в жизни дозарезу понадобилась его помощь, его просили, умоляли, а он не нашел ничего лучше, чем отгородиться трусливым молчанием и дать свершиться несправедливой судьбе. К чему мне вся эта шайка, сговорившаяся погубить меня? Что мне за дело до всего мира? Если мир полон такого коварства, я в нем ничего не потерял. Пускай другие задыхаются в собственной подлости! Пускай размазывают свои сопли, где пожелают! Без меня! Я выхожу из игры. Я распрощаюсь с этим миром. Я убью себя. Сейчас же.

Когда я разродился этой мыслью, мне стало совсем легко на душе. Представление, что нужно всего лишь «расстаться с этой жизнью» (так мило назывался этот процесс) и я одним махом избавлюсь от всех мерзостей и несправедливостей, имело в себе нечто необычайно утешительное и раскрепощающее. Слезы высохли. Дрожь прекратилась. В мире снова была надежда. Только бы не упустить момент. А то еще передумаю.

Я вскочил на велосипед и покатил. Доехав до середины Верхнего Озера, я не стал поворачивать к дому, а взял от Озерной улицы направо, въехал через лес на холм и, перебравшись через проселок, затряхал по дороге в школу, направляясь к трансформаторной будке. Там стояло самое большое из всех известных мне деревьев – мощная старая красная сосна. Я хотел залезть на это дерево и броситься вниз с его верхушки. Другой вид смерти мне не пришел бы и в голову. Я, правда, знал, что люди могут утопиться, заколоться кинжалом, задохнуться или умертвить себя электрическим током. Последний способ мне однажды во всех подробностях описал мой брат: «Но тебе понадобится нулевой проводник, – сказал он, – это каждый дурак знает. Без нулевого проводника ничего не выйдет, а то бы все птицы, которые садятся на электрические провода, падали на землю мертвыми. Но они не падают. А почему? Потому что у них нет нулевого проводника. Ты можешь даже – теоретически – повеситься на проводе напряжением в сто тысяч вольт, и с тобой ничегошеньки не случится – потому что у тебя нет нулевого проводника». Так рассуждал мой брат. По мне все это было слишком сложно, электрический ток и тому подобное. Кроме того, я не знал, что такое нулевой проводник. Нет.

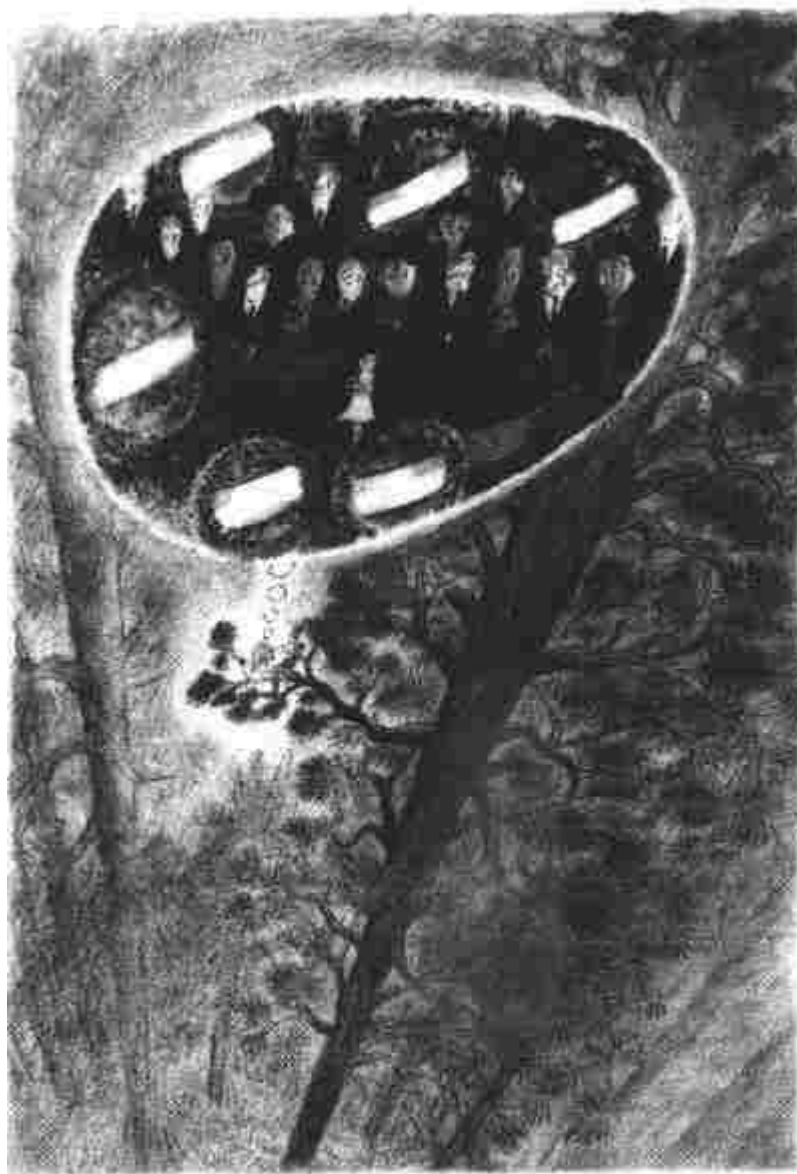
Для меня речь могла идти только о том, чтобы свалиться с дерева. В этом у меня был опыт. Падение меня не ужасало. Это был единственный приемлемый для меня способ расстаться с жизнью.

Я поставил велосипед рядом с трансформаторной будкой и продрался через кусты к красной сосне. Она была такой старой, что внизу у нее уже не осталось веток. Сначала мне пришлось залезть на невысокую соседнюю сосну, а уже оттуда перебираться на красную. Потом все было просто. Я полез наверх, к небу, по толстым, узловатым, удобным для цепляния ветвям, почти так же легко, как по лестнице, и остановился лишь тогда, когда сквозь ветви вдруг пробился свет, а ствол стал таким тонким, что я ощутил легкое покачивание. Я еще немного не добрался до самой верхушки, но, взглянув в первый раз вниз, не увидел земли, таким плотным ковром расстелилось у меня под ногами зеленое и коричневое переплетение хвойной поросли, веток и сосновых шишек. Спрыгнуть отсюда казалось невозможным. Все равно как спрыгнуть из-за облаков как бы в близкую, обманчиво прочную постель с последующим падением в неизвестность. Но я ведь не хотел прыгать в неизвестность, я хотел видеть, где, когда и как упаду. Я собирался совершить свободное падение по законам Галилео Галилея.

Поэтому я снова спустился в сумеречную область, двигаясь от ветви к ветви вокруг ствола и высматривая внизу траекторию свободного падения. Несколькими ветвями ниже я ее нашел – идеальную траекторию полета, глубокую, как колодец шахты, строго перпендикулярную земле,

где узловатые корневища дерева обеспечат мне жесткое и неминуемо смертельное столкновение с почвой. Нужно было только немного отклониться от ствола и слегка продвинуться по ветке наружу, а потом совершенно беспрепятственно прыгать и стремительно лететь в глубину. Я медленно опустился на колени, уселся на ветку, прислонился к стволу и перевел дух. До этого момента я вообще не сообразил задуматься, что я, собственно, замышляю, – настолько меня захватила техническая сторона предприятия. И вот теперь, перед решающим моментом, снова нахлынули мысли, и я, снова предав анафеме и проклятию весь порочный мир и всех его обитателей без разбора чина и звания, начал рисовать в воображении умильные картины собственных похорон. О, это будут великолепные похороны! Под звон церковных колоколов, под рокочущие звуки органа толпа людей в трауре заполнит кладбище Верхнего Озера. Я буду лежать на ложе из цветов в стеклянном гробу, и черная лошадка повезет меня в последний путь, и все вокруг меня громко зарыдают. Зарыдают мои родители, зарыдают мои одноклассники, зарыдают госпожа д-р Хартлауб и барышня Функель, издалека придут для рыдания родственники и, рыдая, все будут бить себя в грудь и громко причитать: «Ах! Мы виноваты, что среди нас нет больше этого славного, незаурядного человека! Ах! Если бы мы лучше с ним обращались, если бы мы не были так злы и несправедливы, он был бы теперь еще жив, этот хороший, этот славный, этот незаурядный и симпатичный человек!» А у самого края моей могилы стояла Каролина Кюкельманн и бросала мне на гроб букет цветов и прощальный взгляд и восклицала в слезах срывающимся от мучительной боли хрипловатым голосом: «Ах, дорогой мой! Незаурядный мой! Зачем только я не пошла с тобой в тот понедельник!

Какое упоение эти фантазии! Я погружался в них, я проигрывал свои похороны во все новых вариантах, от положения во гроб до поминальной трапезы, где меня восхваляли в надгробных речах, и под конец сам растрогался настолько, что если не разрыдался, то во всяком случае прослезился. Это были самые прекрасные похороны в истории нашего прихода, о них будут с глубокой грустью вспоминать еще многие десятилетия... какая досада, что сам я не смогу по-настоящему принять в них участия, ведь я тогда буду уже мертв. В этом, к сожалению, не приходилось сомневаться. На своих похоронах я должен быть мертв. Нельзя сразу занять и то и другое: отомстить миру и продолжать в нем жить. Значит, пусть будет месть!



Я отцепился от ствола сосны. Медленно, сантиметр за сантиметром, я съезжал по ветке наружу, наполовину опираясь правой рукой о ствол, наполовину отталкиваясь от него и обхватывая левой рукой ветку, на которой сидел. Наступил момент, когда я мог касаться ствола лишь кончиками пальцев... а потом не мог и кончиками пальцев... и сидел уже без боковой опоры, только еще вцепившись обеими руками в ветку, свободный, как птица, подо мной глубина. Очень, очень осторожно я заглянул вниз. И оценил высоту, на которой находился, примерно в три высоты нашего дома – с земли до конька на крыше, а это десять метров. Значит, моя высота равнялась тридцати метрам. По законам Галилео Галилея это означало, что время моего предстоящего падения будет равно точно 2,4730986 секунды, и, следовательно, я ударюсь о землю, имея конечную скорость 87,34 километра в час.

* Если пренебречь сопротивлением воздуха!

** Разумеется, эти вычисления до седьмого знака после запятой я проделал намного позже с помощью карманного арифмометра. Ведь законы падения стали мне в свое время известны только понаслышке, а их значения или математической формулы я еще точно не знал. Мои тогдашние расчеты ограничивались примерной оценкой высоты падения и основанным на разного рода эмпирических опытах предположением, что время падения могло быть довольно долгим, а скорость при столкновении с землей довольно большой.

Я долго смотрел вниз. Глубина влекла. Она соблазнительно притягивала. Она как бы манила: «Ну же, давай прыгай!» Она тащила к себе, как на невидимых нитях: «Давай прыгай!» И это было проще простого. Легче легкого. Только немного наклониться вперед, только совсем чуть-чуть потерять равновесие... остальное произойдет само собой... «Давай прыгай!»

Да! Я прыгну! Я еще только не могу решить когда! Я должен выбрать совершенно определенный момент, одну точку, точку во времени! Я не могу сказать: «Сейчас! Сейчас я это сделаю!»

Я решил досчитать до трех, как мы делали, гонясь наперегонки или ныряя в воду, и на счете «три» упасть. Я собрался с духом и начал считать:

«Раз... два...» Тут я опять остановился, потому что не знал, как нужно прыгать, с открытыми или с закрытыми глазами. Немного подумав, я решил досчитать до трех с закрытыми глазами, на счете «три», еще не открывая глаз, отцепить руки, и только в момент начинающегося падения снова открыть глаза. Я зажмурился и стал считать: «Раз... два...»

И вдруг я услышал стук. Он доносился с дороги. Тяжелое ритмичное «тук-тук-тук-тук» раздавалось в двойном темпе моего счета: на «раз» – «тук», между «раз» и «два» – «тук», на «два» – «тук» и между «два» и предстоящим «три»... в точности, как метроном барышни Функель: «тук-тук-тук-тук».

Казалось, что это постукивание передразнивает мой счет. Я открыл глаза, и в ту же секунду постукивание прекратилось, а вместо него послышалось шуршание, хруст веток, мощное звериное пыхтение... и вдруг подо мной оказался господин Зоммер, он стоял на глубине тридцати метров строго по вертикали, так что, прыгнув теперь, я бы разбил в лепешку не только себя, но и его. Я вцепился в мою ветку и замер.

Господин Зоммер неподвижно стоял внизу и пыхтел. Немного отдышавшись, он вдруг затаил дыхание и стал вертеть головой во все стороны, вроде как прислушиваясь. Потом наклонился и заглянул налево под кусты, направо под валежник, обошел, крадучись, как индеец, вокруг дерева, снова возник на прежнем месте, еще раз прислушался и осмотрелся (только не поглядел наверх!), убедился, что никто за ним не гонится и вокруг нет ни души, тремя быстрыми движениями отбросил соломенную шляпу, палку и рюкзак и растянулся во весь рост на голой земле между корнями, как в своей постели. Но он не уgomонился в этой постели, а, едва улегшись, исторг долгий жутко прозвучавший вздох... нет даже не вздох, во вздохе уже звучит облегчение, а скорее кряхтящий стон, глубокий, жалобный грудной звук, в котором смешались отчаяние и страстная жажда облегчения. И во второй раз тот же звук, от которого волосы вставали дыбом, жалостный стон истерзанного муками больного, и опять никакого облегчения, никакого покоя, ни секунды передышки, а он уже снова приподнялся, нащупал свой рюкзак, торопливыми движениями вытащил из него бутерброд и плоскую жестяную фляжку и начал есть, жрать, вталкивать в себя свой бутерброд, и каждый раз, откусывая кусок бутерброда, он снова подозрительно оглядывался вокруг, словно в лесу затаились враги, словно за ним гонится страшный преследователь, отставший на короткое и все уменьшающееся расстояние, и вот теперь настигает, и вот-вот настигнет его, и в любой момент может объявиться прямо здесь, на этом самом месте. Бутерброд был поглощен в кратчайшие сроки, запит глотком из полевой фляжки, и снова в лихорадочной спешке начались сборы к паническому бегству: полевая фляжка брошена в рюкзак, рюкзак закинут за спину, палка и шляпа одним движением подняты с земли, и вот он уже, торопливо пыхтя, шагает прочь, продираясь сквозь кусты, слышится шуршание, хруст веток и, со стороны дороги, четкое, как метроном, быстро удаляющееся постукивание палки: «тук-тук-тук-тук...»

Я сидел в развилине кроны, плотно прижавшись к стволу. Не помню, как я туда вернулся. Я дрожал. Меня знобило. Мне вдруг совершенно расхотелось бросаться в глубину. Мне показалось это смешным. Я больше не понимал, как мне могла прийти в голову такая идиотская мысль: кончать жизнь самоубийством из-за какой-то сопли! Я же только что видел человека, который всю жизнь убегал от смерти.



Прошло, кажется, пять или шесть лет, прежде чем я встретил господина Зоммера в следующий и одновременно в последний раз. Конечно, я часто видел его издалека, да и как было не увидеть, раз он постоянно находился в пути, где-нибудь на проселочной дороге, на какой-нибудь тропе, проложенной вокруг озера, в поле или в лесу. Но я больше не обращал на него особенного внимания, да, пожалуй, и никто не обращал, его видели так часто, что перестали замечать как слишком знакомую деталь ландшафта, при виде которой никто не станет изумляться и восклицать: «Гляди-ка, вон церковная колокольня! Гляди-ка, вон она, Школьная гора! Гляди-ка, вон там едет автобус!..» Разве что по воскресеньям, по дороге на скачки, мы с отцом говорили в шутку: «Гляди-ка, вон идет господин Зоммер – он себя погубит!» и при этом имели в виду вовсе не его, а наше первое воспоминание о том далеком-далеком дне, когда шел град и мой отец употребил эту банальную фразу.



От кого-то мы услышали, что жена его – кукольница – померла, но никто точно не знал, где и когда, и на похоронах никого не было. Он больше не снимал подвал у маляра мастера Штангльмайера (его теперь занимали Рита и ее муж), а жил на чердаке у рыбака Ридля, несколькими домами дальше. Но там он бывал очень редко; по словам госпожи Ридль, он только заглядывал туда ненадолго, чтобы перекусить или выпить стакан чая, а потом снова убегал. Часто он пропадал сутками, даже не ночевал; где его носило, где он спал по ночам, и спал ли он вообще по ночам или днем и ночью странствовал по округе – этого никто не знал. Да это и никого не интересовало. У людей теперь были другие заботы. Они думали о своих автомобилях, о своих палисадниках и газонах, но не о том, где находил приют на ночь старый чудак. Они говорили о том, что слышали вчера по радио или смотрели по телевизору, или о новом магазине самообслуживания, который открыла госпожа Хирт. Но уж никак не о господине Зоммере! И хотя господина Зоммера еще иногда видели, но в сознании других людей он больше не занимал места. Его время, как говорится, миновало.

Но не мое! Я шел в ногу со временем. Я был на высоте времени – во всяком случае, я казался себе вполне современным, а иногда даже чувствовал, что опережаю свое время: рост – метр семьдесят, вес – сорок девять кило, размер обуви – сорок первый. Я уже почти перешел в пятый класс гимназии. Я прочел все сказки братьев Grimm и еще половину Мопассана. Я уже выкурил полсигареты и посмотрел в кино два фильма об одной австрийской императрице. Еще немного, и я получу заветное школьное удостоверение с красным штампом «старше 16», которое даст мне право ходить на фильмы для взрослых и посещать публичные места до 22 часов «без сопровождения родителей и/или уполномоченных на то педагогов». Я уже умел решать

уравнения с тремя неизвестными, мог смастерить кристаллический средневолновый детектор, знал наизусть начало сочинения Юлия Цезаря «De bello Gallico» и первую строку «Одиссеи», хотя никогда не учил ни слова по-гречески. На фортепьяно я играл уже не только Диабелли и ненавистного Хесслера, но кроме блюзов и буги-вуги еще и таких почтенных композиторов, как Гайдн, Шуман, Бетховен или Шопен, а припадки ярости, которым была подвержена барышня Функель, я научился переносить стойчески и даже с тайной ухмылкой.

Я почти уже не залезал на деревья. Зато у меня был собственный велосипед, а именно бывший велосипед моего брата с тремя скоростями, и на нем я однажды преодолел расстояние от Нижнего Озера до виллы Функель не за тринадцать с половиной, а за двенадцать минут пятьдесят секунд, то есть перекрыл старый рекорд на тридцать пять секунд (заметив время по моим собственным наручным часам с секундомером). Я вообще (утверждаю это без ложной скромности) стал блестящим велосипедистом, не только в смысле скорости и выносливости, но и в том, что касается ловкости. Езда без рук, езда без рук по кривой, поворот стоя или на полном торможении или эффектный рывок с места не составляли для меня проблемы. Я даже мог на ходу вставать ногами на багажник – достижение хотя и бессмысленное, но весьма артистичное, явившееся красноречивым свидетельством обретенного мною безграничного доверия к закону сохранения вращательного импульса. Скепсис по отношению к езде на велосипеде был окончательно преодолен как теоретически, так и практически. Ездить на велосипеде было почти то же, что летать.



Конечно, и в эту эпоху моей жизни некоторые вещи отравляли мне существование.

Я, например: а) не имел свободного доступа к ультракоротковолновому радиоприемнику, то есть был лишен возможности слушать детективные радиопьесы, которые передавались по

четвергам с десяти до одиннадцати вечера; это вынуждало меня узнавать их содержание только на следующее утро в школьном автобусе в довольно бездарном изложении моего друга Корнелиуса Михеля; б) то обстоятельство, что у нас не было телевизора. «Телевизору не место в моем доме, – таков был вердикт моего отца, родившегося в тот год, когда умер Джузеппе Верди, – ибо телевидение хоронит домашнее музицирование, портит глаза, разрушает семейную жизнь и вообще ведет ко всеобщему оглушению».

* Был один-единственный день в году, когда телевидение не портило глаза и не вело ко всеобщему оглушению, а именно тот день в начале июля, когда с ипподрома Гамбург-Горн велась прямая трансляция скачек «Немецкое дерби». По этому поводу мой отец надевал серый цилиндр, отправлялся в Верхнее Озеро в гости к Михелям и смотрел у них трансляцию.

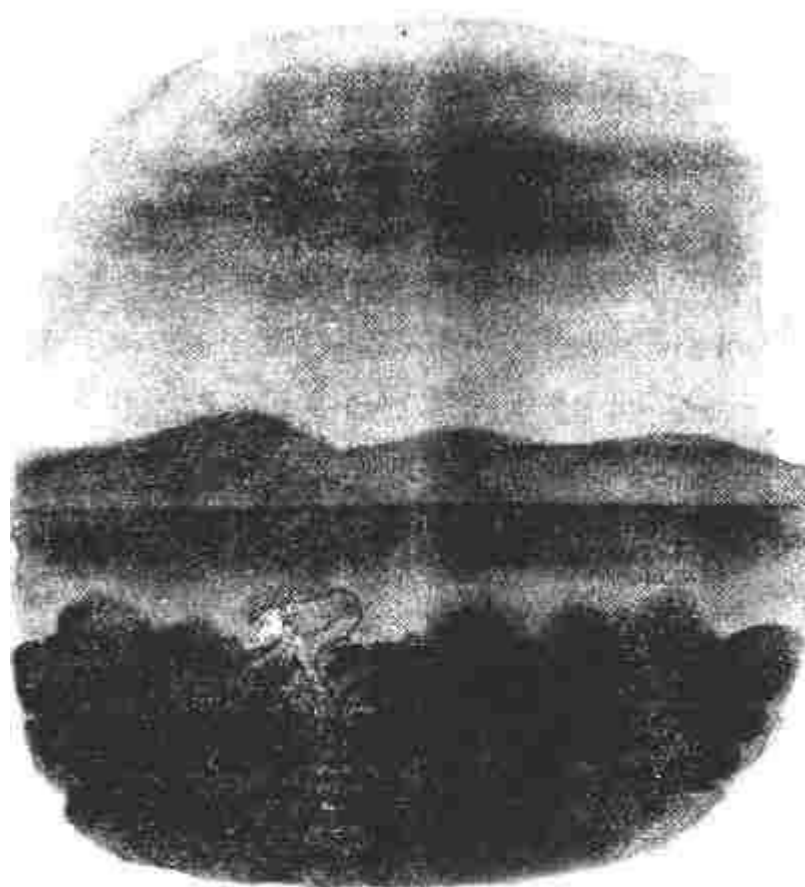
К сожалению, по этому вопросу мама отцу не возражала, так что мне приходилось торчать у моего друга Корнелиуса Михеля, чтобы хотя бы иногда приобщаться к столь значительным культурным событиям, как «Лесси», «Мама лучше всех» или «Приключения Хайрама Холл идея».

Глупейшим образом почти все эти передачи шли по так называемой предвечерней программе и заканчивались ровно в восемь, когда начинались последние известия. А ровно в восемь я должен был с вымытыми руками сидеть за ужином. Но поскольку невозможно находиться одновременно в двух разных местах, тем более что для преодоления расстояния между ними требуется семь с половиной минут (не говоря уже о мытье рук), мои телевизионные эскапады систематически приводили к классическому конфликту между долгом и сердечной склонностью. И я должен был либо за семь с половиной минут до конца передачи отправляться домой – и пропускать из-за этого развязку драматической коллизии, – либо оставаться до конца и, следовательно, на семь с половиной минут опаздывать к ужину, рискуя скандалом с мамой и обрекая себя на выслушивание отцовских разглагольствований о разрушении телевидением основ семейной жизни. Вообще мне кажется, что для этой фазы моей биографии характерны конфликты такого и подобного рода. Вечно ты что-то должен, почему-то обязан, чего-то не должен, и лучше бы ты... вечно от тебя чего-то требуют, ожидают, на чем-то настаивают: сделай это! сделай то! не забудь о том-то! ты уже сделал это? ты уже был там-то? ты почему опаздываешь?., вечно нажим, вечно притеснение... вечно цейтнот, вечно тебе под нос суют часы. Меня редко оставляли в покое... Тогда. Но сейчас я не собираюсь плакаться и вдаваться в подробности каких-то конфликтов моей юности. Мне подобает как можно скорее почесать в затылке, возможно, даже слегка постучать средним пальцем по известному месту и сосредоточиться на том, от чего я предпочел бы увильнуть, а именно рассказать о последней встрече с господином Зоммером и тем самым закончить его и всю эту историю.



Это было осенью, после одного из телевизионных вечеров у Корнелиуса Михеля. Передача оказалась скучной, развязка предсказуемой, так что я покинул дом Михелей уже без пяти восемь, чтобы хоть как-то успеть к ужину.

Темнота давно уже разлеглась по всей земле, только на западе, над озером, в небе еще держался сероватый свет. Я ехал без освещения, во-первых, потому, что фара часто ломалась – то лампа, то патрон, то кабель, – а во-вторых, потому, что при включении динамо велосипед все же значительно тормозит на свободном ходу, а это значительно увеличило бы время движения к Нижнему Озеру. Да и не нужна была мне никакая фара. Я и во сне мог найти дорогу. И даже самой темной ночью асфальт узкой мостовой был все-таки намного чернее, чем заборы с одной стороны и кусты с другой, и чтобы не сбиться с курса, нужно было просто все время ехать туда, где всего чернее. И вот я несся сквозь начало ночи, склонившись к рулю, на третьей скорости, и ветер свистел у меня в ушах, было прохладно, влажно и время от времени пахло дымом.



Примерно на полпути (дорога здесь немного отходила от озера и делала небольшой крюк через бывший известковый карьер, за которым возвышался лес) у меня соскочила цепь. К сожалению, это был частый дефект в общем-то пока еще безупречно функционировавшей системе переключения скоростей, объяснявшийся изношенностью пружины, которая не сообщала цепи достаточного натяжения. Я провозился с этой проблемой несколько часов после обеда, но все-таки не смог ее устранить. Итак, я остановился, слез и наклонился над задним колесом, чтобы вытащить цепь, зажатую между зубчатой передачей *Zahnrad* и рамой, и, осторожно вращая педали, снова насадить ее на передачу *Zahnkranz*. Эта процедура была для меня настолько привычной, что я без труда справился с ней даже в темноте. Неприятно было лишь то, что при этом противно испачкались пальцы. И потому, натянув цепь, я перешел на другую сторону улицы, ведущей к озеру, чтобы вытереть руки большими сухими листьями *Ahornbusches*. Я наклонил ветви, и мне открылся вид на озеро. Оно лежало передо мной, как огромное светлое зеркало. И на краю этого зеркала стоял господин Зоммер. В первое мгновение я подумал, что он босой. Но потом увидел, что он в горных ботинках, но стоит в воде, в нескольких метрах от берега, спиной ко мне, глядя на запад, на другой берег, где за горами еще держалась последняя полоса бело-желтого света. Он стоял как некий заключенный в раму обелиск, темный силуэт на светлом зеркале озера – длинная узловатая палка в правой руке, соломенная шляпа на голове.

И вдруг ни с того ни с сего он начал двигаться. Шаг за шагом, на каждом третьем шагу выбрасывая палку перед собой и отталкиваясь ею как шестом, господин Зоммер уходил в озеро. Шел, как по земле, с типичной для него целеустремленной торопливостью, направляясь в самую середину озера, прямоком на запад. В этом месте озеро мелкое, и глубина увеличивается постепенно. Через двадцать шагов господин Зоммер погрузился в воду лишь по бедра, а когда он уда-

лился от берега на расстояние брошенного камня, вода дошла ему только до груди. А он все шел дальше, теперь немного медленнее, из-за сопротивления воды, но неудержимо, ни на мгновение не колеблясь, упрямо, почти жадно стремясь обогнать препятствовавшую ему воду, и наконец отбросил свою палку и стал разгребать воду руками.



Я стоял на берегу и смотрел ему вслед, широко раскрыв глаза и рот. Я, наверное, был похож на человека, которому рассказывают интересную историю. Я не был испуган, скорее изумлен, захвачен увиденным, конечно, не сразу осознав весь ужас происходящего. Сначала я подумал, что он просто стоит там и ищет что-нибудь, что потерял в воде, но если нужно что-то найти, кто же зайдет в воду в ботинках? Потом, когда он зашагал вперед, я подумал: теперь он купается, но кто же купается ночью в октябре во всей одежде? И наконец мне пришла в голову абсурдная мысль, что он собирается пешком пересечь озеро – не вплавь, я ни секунды не думал, что он поплывет, господин Зоммер и плаванье – это никак не вязалось, нет: он пересечет озеро пешком, на глубине сто метров под водой ускорит шаг, до другого берега пять километров.

Теперь вода доходила ему до плеч, теперь до шеи, а он все пробивался вперед все дальше в озеро... и тут он еще раз вынырнул на поверхность, вырос, наверное, из-за приподнятости грунта, еще раз из воды по плечи... и двинулся дальше, не останавливаясь даже теперь и снова погружаясь все глубже, по шею, по горло, по подбородок... и только сейчас я начал смутно догадываться, что происходило у меня на глазах, но я не тронулся с места, не закричал: «Господин Зоммер! Стойте! Назад!» – и не бросился бежать за помощью, и не стал высматривать спасательную лодку, плот, надувной матрац, я даже ни на миг не отвел глаза от маленькой точки головы, уходящей под воду там, далеко в озере.

А потом вдруг он пропал. Только соломенная шляпа осталась лежать на воде. И спустя чу-

довишно долгое время, может полминуты, может целую минуту, на воде взбухло несколько больших пузырей, потом больше ничего.

Только еще эта смешная шляпа, которую теперь очень медленно относило к юго-западу. Я смотрел ей вслед долго, пока она не исчезла в сумеречной дали.

Прошло две недели, пока кто-то вообще заметил исчезновение господина Зоммера. А заметила это первой жена рыбака Ридля, обеспокоенная задержкой квартирной платы за свой чердак. После того как господин Зоммер через две недели так и не появился, она обсудила это обстоятельство с госпожой Штангльмайер, а госпожа Штангльмайер обсудила его с госпожой Хирт, которая в свою очередь опросила своих покупателей. Поскольку, однако, господина Зоммера никто не видел и не мог ничего сообщить о его местопребывании, рыбак Ридль еще через две недели решился заявить о его исчезновении в полицию, а еще через несколько недель в местной газете появилось маленькое объявление о розыске со старой-престарой фотографией на паспорт, на которой господина Зоммера не узнал бы никто на свете, ведь на ней был изображен молодой человек с еще пышной черной шевелюрой, проницательным взглядом и уверенной, почти дерзкой улыбкой на губах. А под фотографией можно было впервые прочесть полное имя господина Зоммера: Максимилиан Эрнст Эгидиус Зоммер.

Некоторое время господин Зоммер и его таинственное исчезновение было темой деревенских пересудов. «Он совершенно спятил, – говорили некоторые, – наверное, заблудился и не может найти дорогу домой. Может быть, он уж и забыл, как его зовут и где он живет».

«Возможно, он эмигрировал, – говорили другие, – в Канаду или в Австралию, видно, ему с его клаустрофобией стало тесно у нас в Европе».

«Он заблудился в горах, упал в пропасть и разбился», – говорили третьи.

На озеро никто не пришел. И прежде чем успела пожелтеть газетная бумага, господина Зоммера забыли. Ведь по нему и так никто не горевал. Госпожа Ридль отнесла его пожитки в подвал и сложила в углу, а комнату на чердаке с тех пор сдавала дачникам. Она, правда, не говорила «дачники», ей это слово казалось странным. Она говорила «городские» или «туристы».



А я молчал. Я не сказал ни слова. Уже в тот вечер, когда я со значительным опозданием явился домой и был вынужден выслушать лекцию о разлагающем влиянии телевидения, я не сказал ни слова о том, что знал. Не сказал и позже. Ни сестре, ни брату, ни даже Корнелиусу Михелю не проговорился ни единым словечком.

Не знаю, что заставило меня так упорно и так долго молчать... но думаю, что не страх, и не чувство вины, и не угрызения совести.

Меня удержало воспоминание о его стоне в лесу, о его дрожащих губах под дождем, о его мольбе: «Ах, да оставьте же меня наконец в покое!» – то самое воспоминание, которое заставило меня промолчать при виде господина Зоммера, погружающегося в воду.